Юрий Витальевич Мамлеев

ВОСПОМИНАНИЯ

Юрий Мамлеев

Воспоминания

ИГ "Традиция"

2017

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)

Мамлеев Ю. В.

Воспоминания / Ю. В. Мамлеев — ИГ "Традиция", 2017

ISBN 978-5-9909614-2-5

Первое издание ранее не публиковавшейся книги классика современной русской литературы Юрия Витальевича Мамлеева (1931–2015). Юрий Мамлеев – не только уникально одаренный прозаик, поэт и философ, прозревавший сквозь видимую реальность бездны метафизического бытия, но и человек, который впитал в себя неповторимую атмосферу неконформистской творческой Москвы 1950–1970-х годов и который во многом сам эту атмосферу создавал. Этим воздухом, этим движением мысли и чувств Юрий Витальевич дышал и в долгие годы эмиграции, и после возвращения в «Россию Вечную», как он называл, чувствовал и понимал нашу Родину. Его мемуары, охватывающие всю жизнь автора, начиная с самого детства – бесценный памятник русской культурной жизни того времени в Советском Союзе и на Западе, раскрывающий новые тайны творчества этого великого писателя. Книга Юрия Мамлеева «Воспоминания» продолжает «мамлеевский» цикл издательской группы «Традиция».

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-9909614-2-5

© Мамлеев Ю. В., 2017
© ИГ "Традиция", 2017

Содержание

Слово издателя 7
Часть первая. На Родине 8
Детство 9
Школа 21
Институт 24
Неконформистская Москва 27
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Юрий Мамлеев
Воспоминания

Слово издателя

Дорогой неизвестный читатель!

Что можно сказать о человеке по итогам его земной жизни?

«Или хорошо или ничего, кроме правды», – так звучит полная фраза, сказанная некогда известным древнегреческим политиком и поэтом Хилоном из Спарты.

Издательская группа «Традиция» представляет вашему вниманию последний земной труд Юрия Мамлеева – «Воспоминания».

История одного человека – это всегда исповедь, подлежащая взвешиванию на великих весах психопомпа для определения будущей дороги.

События, даты, люди…

Сквозь пеструю ткань временных последовательностей пытливый ум проследит трудные этапы становления человеческой инкарнации в этом подлунном мире.

Несомненно, каждый читатель найдет в этой книге свои восхищающие струны и свои противоречия. Однако общим будет желание сверить, насколько земные жизни соответствуют высокой планке стяжания высших добродетелей.

От страшных Шатунов через персональный Гамбит к личному откровению России Вечной – вот квинтэссенция пути Юрия Мамлеева. Вот призма, сквозь которую Воспоминания отражаются в Вечности живой тканью становления.

Храни Вас Бог, Юрий Витальевич!

Благодарности

Большое спасибо за помощь в работе над книгой
Игорю Дудинскому,
Илье Егармину,
Сергею Жигалкину,
Тимофею Решетову,
а также всем фотографам, запечатлевшим моменты истории

Часть первая. На Родине

Детство

Вселенскому сну я не верю,
Превратив этот ужас в покой,
Я стою у таинственной двери,
За которой я стану собой.

Юрий Мамлеев

Одиннадцатое декабря 1931 года. День, когда я появился на этом свете, или, как принято говорить, родился. Мои родители принадлежали к разным семьям. Отец, Виталий Иванович Мамлеев, был дворянского происхождения. Я хорошо помню его мать, мою бабушку, помещицу из Пензенской губернии. Моя же происходила из семьи купцов-староверов. Её девичья фамилия – Романова. Однако семья эта довольно быстро европеизировалась, и к началу XX века все следы старообрядчества сгладились; моя бабушка по материнской линии, Полина Кузьминична, прабабушка Зинаида и её сестра Елена жили уже вполне современной жизнью.

Эта семья довольно быстро расцвела. Мои мама и тётя получили блестящее образование и ни в чём не уступали представителям дворянских семей. Они часто выезжали в Париж. Как раз к началу революции моя мать закончила гимназию, а это означало, что она владела несколькими иностранными языками. Образование в царской гимназии давалось блестящее, с такими дипломами в советское время без разговоров принимали в высшее учебное заведение. Насколько я могу судить, никаких особых трений с советской властью у маминой семьи не было, несмотря на их купеческое происхождение. Моя тётушка, тогда ещё студентка медицинского института, и мать, впоследствии студентка факультета экономгеографии МГУ, приняли-таки революцию. Помню, как Елена Петровна, сестра матери, возмущалась, что, мол, непонятно, почему это одни люди могут владеть фабриками и заводами, а другие – нет? Это, дескать, несправедливо. Короче говоря, революционный пыл овладевал многими, независимо от их происхождения. Ярыми революционерами ни моя мать, ни тётушка, конечно, не были – они были образованные, нежные девушки из русских семей и хотели просто учиться. В итоге Елена Петровна успешно закончила медицинский, вышла замуж за профессора медицины и сама стала профессором. У неё родились сын Володя и дочь Ирина; дочь родилась уже в начале сороковых. Мама, владея пятью иностранными языками, успешно занималась переводами и трудилась на кафедре экономгеографии МГУ.

Что касается отца, то его профессия была более экзотической – он был психопатологом. Не психиатром, а именно психопатологом – это более широкое понятие, объемлющее любые нарушения в психике человека, в том числе не имеющие отношения к собственно психическим болезням, а являющиеся просто определёнными искажениями характера, скажем, под влиянием среды или иных факторов. Видимо, он был прирождённым психологом, поскольку был человеком внутренней ориентации. Наша квартирка в Южинском переулке была буквально завалена литературой по психиатрии и психопатологии, которую я в ранней юности с интересом изучал. Кроме всего прочего, отец был спортсменом, очень физически сильным мужчиной, чего не скажешь о матери.

Своим первым местом обитания я помню именно Южинский. Это имя переулку было присвоено советской властью в честь актёра Александра Южина-Сумбатова, который здесь когда-то проживал. А до советской эпохи (как и в настоящее время) переулок назывался Большой Палашёвский. Такое имя он получил потому, что в допетровские времена в этом месте жили палачи. Когда наша семья оказалась здесь, это был уже переулок не без эстети-

ческих моментов, и его древняя история выветрилась из памяти людской. Одним своим концом Южинский выходил на Пушкинскую площадь; рядом располагалась школа № 122, где я закончил десятилетку. Другой выход, через перпендикулярный Богословский переулок – прямиком на Тверской бульвар, отмеченный русской классикой и потому сам ставший классикой. В этом месте удивительно сочетались нежность и историческая глубина. Здесь не покидало ощущение, что вот по этому самому бульвару проходили многие великие люди России – поэты, писатели. Венчал бульвар знаменитый памятник Пушкину. Здесь же выступал и Достоевский со своей знаменитой «Речью о Пушкине».

Неподалёку были Патриаршие пруды – тоже место типично московское. Весь этот район в мою бытность там, то есть с начала 30-х по начало 70-х годов двадцатого столетия, являл собой именно настоящую старую Москву с её маленькими булочными, низкими домиками. Печать русского городского духа лежала на всём; бывавшие здесь русские писатели и поэты не могли не создать совершенно уникальную ауру этого места. Это было место отдохновения и спокойного погружения в творчество, в другие миры.

Наша семья занимала дом номер 3, который был снесён в конце 60-х годов. Это была отштукатуренная двухэтажная (не считая подвала) постройка начала XX столетия. Квартира № 3 располагалась на верхнем этаже и состояла из шести комнат, если не больше. Раньше, до революции, здесь обитала семья учителя гимназии. Квартира была с удобствами – телефон, туалет, кухня. Мы были единственными, кто занимал две комнаты. Остальные ютились теснее. Мы – это отец, я и мать. Рядом была комната бабушки Полины Кузьминичны, замечательной и образованной женщины – недаром её вторым мужем после смерти первого был художник старого русского направления – реалистического, но очень московского, нежного, в духе московских храмов и двориков. Его картина «Храм Христа Спасителя» висела в бабушкиной комнате. Полину Кузьминичну я называл «большая бабушка». А «маленькая бабушка» – это была мать отца, добросердечная русская помещица, чуть ли не сошедшая со страниц романа Гончарова «Обрыв». Она жила в доме, неподалёку от нас, в крошечной комнатке.

Квартира в Южинском была мне родным домом – меня там знали с детства и относились в основном доброжелательно. В детстве у меня был друг Вадим, мой ровесник. Его мать, Софья Наумовна, добрая и образованная женщина, водила дружбу с моей бабушкой. Надо сказать, что все эти люди родились ещё до революции, и поэтому отпечаток российского сознания (я не говорю, что все они были православные, верующие; это другой вопрос) лежал на них, и это значительно смягчало конкретную бытовую жизнь. В лице моей бабушки и моей матери, которая родилась около 1900 года (отец родился тоже приблизительно в это время), я видел лица старой России, которая, по существу, была вечной.

Так текли мои детские годы. Наша семья часто выезжала на дачу, и там, на природе, мне открывался целый огромный мир. Что преобладало в моём сознании в детстве? Это сложный вопрос. Конечно, было то, что проходило через сознание всех детей, – это сны, состояния «на грани», когда ребёнок чувствует больше, чем взрослый во многих отношениях. Свой первый рассказ я написал в детстве – мне было лет шесть или семь. Он назывался «Волшебный фонарь», и сюжет там был такой, что обычный уличный фонарь перенесли на какое-то другое место, которое оказалось волшебным, и с этим фонарём начали происходить чудеса.

В те годы организовывались детские группы для изучения иностранных языков; в 30-е это было очень распространённое явление. Было общение между детьми – мальчики и девочки вместе, и это украшало жизнь. Доминировал, конечно, немецкий язык. Германия… В то время эта страна обладала политическим и даже культурным влиянием, поскольку все, я думаю, ожидали именно от Германии некоего решающего слова, некоей развязки. Недаром говорили, что Первая и Вторая мировые войны – суть одна война; только и было, что два-

дцать лет перемирия, а потом началось такое, что превосходило понимание человека XIX столетия.

Отца я помню довольно плохо. Дело в том, что он был арестован по 58-й статье (антисоветские высказывания). Это была известная статья, по которой проходило очень много людей, особенно из интеллигенции, недовольных советской властью.

Мама никогда не рассказывала мне, что с ним произошло, она оберегала меня в душевном плане. Я узнал о его судьбе только впоследствии, а потом, уже в 1943 году, мы получили сообщение, что он умер в лагере. Такая же участь постигла и отца моей жены Марии. Но на тот период времени мы ещё не знали друг друга – мы были детьми и жили в разных городах.

И всё-таки в памяти сохранились некоторые моменты, связанные с отцом. Он часто брал меня кататься на лыжах на Воробьёвы горы, ещё куда-то… Он был довольно замкнутым человеком, и всякий раз, когда высказывался, говорил нечто не совсем ординарное. Он всегда шёл наперекор. Я рано начал читать, и прежде всего, конечно, Пушкина. Я сказал отцу, что Пушкин – мой любимый поэт. Отец стал возражать – мол, ты лучше читай Тютчева, Тютчев – поэт, гораздо более глубокий, чем Пушкин. Это меня поразило. Я задавал ему разные полудетские вопросы, характерные для того времени. Однажды во время прогулки (это был 37–38 год) я спросил его:

– Папа, а кого я должен больше любить: тебя или Сталина? Отец довольно спокойно и твёрдо ответил:

– Конечно, Сталина.

Это показывает, что за атмосфера царила в стране. Потом я ему задал уже другой вопрос:

– Папа, а Бог есть? Он ответил:

– Не знаю.

Тоже, в общем-то, показательный ответ, потому что интеллигенция в значительной мере была растеряна в смысле высших ценностей. Первая мировая война, развязанная в Европе, была настолько чудовищной, что многие просто потеряли веру и пребывали в каком-то странном, промежуточном, духовно-сумеречном состоянии – то ли Высший Разум есть, то ли его нет…

Забегая немного вперёд, замечу, что атеизм как официальное мировоззрение на меня произвёл гнетущее впечатление. Поразил меня, главным образом, почти молниеносный переход от веры к полному неверию. Помню, мне было лет десять, я сидел в садике (не в детском, а в смысле зелени) и воображал жизнь дореволюционной России, когда люди верили в Бога. Что же произошло сейчас, почему ситуация столь радикально изменилась, и такая бездна отделяет советский мир от мира Российской империи? Я подумал, если люди верили в Бога и в бессмертие души, то жизнь должна быть совершенно другой. И взгляд на неё должен быть другим – более нормальным, более жизненным, более возвышенным, соответствующим душе человека. И меня поразило, насколько во времена неверия всё переменилось: человек вдруг стал обречён на короткую, жалкую жизнь, а потом – небытие, полное, окончательное и бесповоротное. Меня поразила эта чудовищная разница, этот разрыв… Но тогда всей глубины этой катастрофы я не постигал – мол, ещё вся жизнь впереди, что-нибудь придумаю. Мать моя сторонилась подобных вопросов и больше занималась своими нежными чувствами, охраной моей жизни и обучением меня иностранным языкам, которыми она владела в совершенстве.

Войну мы встретили на даче. Это было в 1941 году под Новым Иерусалимом, недалеко от Истры. Место было живописное, рядом протекала мелкая речка Истрёнка, словно созданная для детей. До 22 июня моя жизнь была счастливой, я уже начал знакомиться с классикой, и, помню, именно этим летом, в начале июня, я читал Гоголя, его страшные мистические

рассказы. Ничего особо не понимал, но дыханием неизвестного веяло. Я сидел в кресле в саду; рядом – ёжик и «Страшная месть».

Помимо литературы и всего сказочного, уже в 38–39 годах я интересовался политикой. В Москве, в районе Тверского бульвара, на стендах развешивали газеты, я их внимательно читал, и мне было интересно узнать, что, например, есть на земле такой город Париж, да и бабушка много говорила о нём, а мама до революции была во Франции… Почему немцы напали на Францию? События мелькали передо мной. Я задавал взрослым вопросы, но они часто давали мне неверные ответы, и это показывало, насколько непредсказуема история. Когда я спрашивал бабушку и дедушку-художника, возьмут ли немцы Париж, они отвечали:

– Никогда не возьмут. Американцы не позволят.

А между тем Париж взяли, и Америка оказалась ни при чём. Общий тон советских газет и так называемой пропаганды был весьма ободряющим; внушалось, что наша армия непобедима, и если кто-то нападёт на нас, то он будет разбит в кратчайшие сроки, тем более, на помощь к нам придёт рабочий класс Германии и любой европейской страны, которая решит на нас напасть.

В день 22 июня я, как и все, думал, что это будет такой же день, какие были до него. Будут ёжики-зверушки, чтение русской классики, и жизнь будет течь в духе соседства и даже переплетения советского и сказочного. Вообще, любопытно, что несмотря на все «антибожественные» действия советской власти, народ жил сокровенной, внутренней жизнью, совершенно другими ценностями. Конечно, он был разделён в этом отношении, то есть не было «единства народного духа», но тем не менее… Я помню, как нас, детей, водили в театр на «Синюю птицу» Метерлинка, и это не было запрещено. Сказочное вплеталось в суровую атмосферу XX века, на дачах жили интеллигентные московские семьи, похожие на ангелов девушки – дочери тех людей, которые родились ещё до революции; в общем, атмосфера была где-то даже чеховская, причём в лучшем смысле этого слова.

Двадцать второго июня я побежал на почту. Надо было – я ведь уже читал газеты. Мне шёл десятый год. И когда я прибежал туда, как раз громко объявили, что немцы бомбят русские города и что началась война. Я сразу подумал: почему немцы на нас напали? Они ведь будут разбиты в кратчайшие сроки? Я был в недоумении и был обрадован, потому что считал, что война скоро закончится, враг будет разбит. Кстати, такого мнения придерживались и многие взрослые – настолько велика была мощь советской пропаганды, основанной на абстракциях марксистской теории, на вере в рабочий класс буржуазных стран и так далее. Но абстракции абстракциями, а жизнь жизнью. Все рабочие Германии либо работали на военных заводах и работали, надо сказать, с огоньком, либо активно сражались в рядах немецкой армии. Национальное чувство попросту раздавило всякие классовые настроения, и та война подтвердила, что национальное чувство несравнимо глубже классового, что их даже смешно сравнивать.

Я радостно прибежал на дачу с криками:

– Мама! Мама! Германия на нас напала!

Мама посмотрела на меня и сказала:

– Не говори чушь. Этого не может быть.

Но я кричал, что это правда и что Германия скоро будет разбита. Тогда мама всё-таки вняла моим словам и пошла к соседке по даче, которая и открыла ей страшную правду. Мама пришла вся в слезах. Она, которая пережила Первую мировую, знала, что такое европейская война, что творилось на фронтах. Она рыдала. И тогда я почувствовал неладное, ощутил, что что-то не так, что какая-то чёрная туча образовалась в пространстве. Мои ощущения были такого рода: во-первых, сразу изменилось психологическое состояние людей – мы сразу попали в другой мир, это был мир войны, мир защиты родины. Я видел, будучи ещё на даче (мы ещё не успели переехать в Москву), первые картинки войны. Вдруг неожиданно…

я сидел на террасе, кто-то был рядом, пудель, кажется, и вдруг – такой неимоверный грохот над нашей крышей! Как будто сам гром небесный падал на нашу дачу. Я закричал, схватился за голову… Все вокруг тоже были в каком-то взрыве эмоций. Но не успели по-настоящему проникнуться ужасом, как всё это пролетело над нами и упало недалеко, там, где обрыв, где река Истрёнка. А вдали виднелся Новоиерусалимский храм. Этот храм – чудо православной веры, я его видел из окна и до войны, и он завораживал меня своей мистической красотой. Я сразу увидел, ещё не осознавая вполне, поскольку это было под вуалью запретов, что значит храм. Я понял, что это другой мир, что это то, что возносит человека до состояния, с которым он не знаком на земле. Храм этот был невиданной красоты и стоял, окружённый русской природой, такой глубокой, с её нежными и тихими тайнами, изгибами, с её аурой, отвечающей русской душе, – это был потрясающий пейзаж. И вот именно на эту землю, среди этого пейзажа, упал первый увиденный мной немецкий самолёт, сбитый нашими зенитчиками. Потом мальчишки бегали туда, хотя самолёт был оцеплен, лётчики мертвы, машина фактически сгорела, осталась груда того, что совсем недавно символизировало мощь великой Германии.

А однажды ночью я видел, как немецкий самолёт летел к Москве… И прожекторы ловили его среди бездонного звёздного неба. Самолёт попал в круг ослепительного света и пытался вырваться, но свет уже не отпускал его. А потом раздался залп зенитной артиллерии, и машина была сбита. Стреляли молодые женщины, военные артиллеристы. Их брали на эту службу, поскольку женщины более точны, более аккуратны, а чтобы сбить самолёт, нужны очень точные расчёты.

Волею судеб нас эвакуировали в Пензу. Там я и мама жили до конца 1943 года. Это было очень суровое время, отец уже был в лагере, но тем не менее жизнь продолжалась. Даже в военное время. В Пензе жили наши родственники по линии отца, были знакомые матери. Рядом, в Саратове, эвакуировалась мамина сестра, Елена Петровна. В общем, были связи, знакомства, и мы не пропали. Немцы были далеко от Пензы, и хотя снабжение там было адекватным тому состоянию, в котором оказалась страна, всё же его было достаточно, чтобы нормально жить и работать. Воспоминания были тяжёлыми, и вместе с тем была уверенность, что моя жизнь продолжится, что всё вокруг продолжится. Я не представлял себе, что мы можем проиграть эту войну, потому что в мире, в который я был погружён, при всей его сложности (я и не знал, насколько это всё сложно), я видел и знал много людей, у которых просто светилась душа. И русский язык был для меня, как нечто, то ли поднимающееся из глубин моей души, то ли нисходящее откуда-то сверху… В общем, это была музыка сфер. И мне пришлось использовать силу русского языка и моего воображения, потому что иногда я попадал в непростые ситуации…

В Пензе было много полубандитов, молодых людей лет шестнадцати, которых ещё не забрали в армию. Это были уже фактически взрослые уголовники. Уголовники эти были странные, разные, интересные. Например, в бытность нашу в Пензе к нам приходил растапливать печку некий сосед, молодой человек, который считался, по-современному говоря, уголовным авторитетом. Он обожал стихи Пушкина и читал их наизусть, растапливая печку.

И любил он огонь, любил смотреть на пламя, и у меня с ним были хорошие отношения. А другой уголовник однажды заступился за меня. В городе была местная шпана, хотя на шпану эти ребята не походили, скорее, это была такая местная маргинальная знать, мальчишки лет 15–16–17, короли улиц. Был там Жарок – настоящий авторитет полуворовского мира. Многие из этих юношей любили брать меня в плен, потому что я умел рассказывать сказки. Я сочинял разные сказки. Они уводили меня в городской лесок, собирались вокруг меня, я сочинял им всевозможные истории, фантастические и реалистические, сказания… Они были очарованы. Это настолько очаровало их, а особенно Жарка, что он и его ребята объявили полууголовному, хулиганскому миру улиц, чтобы меня не трогали. А если на мою

личность кто-то посягнёт, то они должны будут встать на мою защиту… Я помню, сидел в каком-то полупарке и рассказывал этим ребятам очередную сказку. Вокруг меня было человека четыре, а моя мать искала меня, я слышал её голос:

– Юра, Юра, где ты?

Я уже давно должен был быть дома. Но эти ребята потребовали, чтобы я не отзывался и рассказал им всё до конца, и только тогда отпустили. Во дворе меня прозвали «Пушкин». Видимо потому, что я любил стихи великого поэта. Но под конец меня это прозвище стало раздражать.

В общем, всё было не так страшно и более или менее безобидно, учитывая то, что творилось в стране, которая встречала полчища фашистов, направленные прямо в её сердце. В Пензе, на площади, висела огромная карта Советского Союза, на которой красной лентой была обозначена линия фронта. Около неё часто собирались люди и с какой-то надеждой смотрели – вдруг эта лента резко повернётся, туда, на Запад… Она часто поворачивалась и на Восток. А в 1943 году лента стала приближаться и захватывать отвоёванные российские земли.

В конце 1943 года мы с мамой вернулись в Москву. Елена Петровна, сестра, на тот момент уже была вместе с мужем в Москве и сумела организовать наш приезд. Мы отправились, и тут произошла история. Мама во второй раз потеряла то, чего терять было никак нельзя. В первый раз она потеряла продовольственные карточки. Тогда это было что-то страшное – эти карточки не подлежали восстановлению. В тот раз карточки ей чудом вернули солдаты, проходящие через город. Эти солдаты напоминали живые скелеты, но они оказались настолько честными… В них было то, что можно назвать вечным сиянием человеческой совести. Надо сказать, что подобных проявлений человеческой души во время войны было немало – например, русские женщины отдавали пленным немецким солдатам хлеб, хотя у самих ничего не было. Немцы считали это каким-то фантастическим явлением.

На сей раз мать потеряла билеты в Москву. Но мы всё равно сели в поезд и поехали. В Рязани была проверка, и нас высадили, как и многих других безбилетников. Мы оказались на вокзале; спать пришлось на полу, кругом – несчастные люди. Но матери удалось дозвониться до сестры, и та, используя своё положение, – ведь она была профессором, изумительным врачом, да и муж её тоже, – помогла нам. Мы вернулись домой.

Наша квартира, в которой мы жили до войны, сохранилась. Там были две смежные комнаты – как раз для нас с матерью. Мама, благодаря своим связям в научных кругах, устроилась на работу в библиотеку имени В. И. Ленина. Также нам помогала её сестра, которая вплоть до смерти мамы отдавала ей часть своей зарплаты. Это было каждый месяц – этакая маленькая зарплата. Сама Елена Петровна, отличный учёный, была замечательно устроена в социальном смысле.

Я был рад Москве. Это была моя малая родина, как говорили тогда в Советском Союзе. Я, мальчишка, был в восторге от метро и катался на нём в разные стороны. Тогда же началось моё увлечение футболом – не в качестве игрока, но в качестве болельщика. Тогда, в 1944-ом, уже играли столичные команды на первенство Москвы; общая атмосфера была тихой, невзирая на войну. По крайней мере, я так чувствовал это. Было ощущение, что война скоро кончится, что наши войска войдут в Германию. В том же году произошло событие – парад пленных солдат Вермахта по Садовому кольцу. Выбежало смотреть много людей – мальчишек, девчонок и взрослых. Пленные шли колоннами, народ глазел на них, но не агрессивно. Какой-то мальчишка подбежал вплотную к колонне и закричал:

– Гитлер капут!

И неожиданно немец из колонны выкрикнул:

– Зер гут!

Я видел, как на него бросил взгляд идущий сзади – это был взгляд глубинного фанатика. Я тоже всматривался в лица, и мне казалось странным, что эти люди, с которыми мы воевали, – люди как люди, некоторые красивые, даже добродушные, другие явно злые. Часть была в понуром состоянии, а часть, наоборот, в оживлённом… Эти вторые, видимо, были рады тому, что они выжили в этой смертоубийственной войне. Я удивлялся, что эти довольно обычные люди могли превратить в пепел Москву, здания, людей, уничтожить всё то, чем я жил, чем был окружён, смести всю мою реальность… Они проходили и проходили, мерным шагом, как-то спокойно. И, видимо, только у самых фанатичных внутри горел сжигающий их самих огонь ненависти. Остальные, как мне казалось, были рады.

Эта жизнь, года за полтора до победы, была украшена одним событием, которое произвело на меня совершенно внереальное впечатление. А дело-то было простое. На лето меня отправили в пионерлагерь. Это было место для мальчишек и девчонок того же возраста, что и я. Мне тогда было лет двенадцать. Замечательным в этом лагере было то, что он располагался в парке Сокольники, который переходил в дремучий лес Лосиного острова, уводящий в Подмосковье. Наш лагерь был расположен на границе дремучего и цивилизованного лесов. Были хорошие вожатые, кормили для того времени неплохо, ну и всё остальное было как будто как обычно. А необычное (потому что обычного не надо) было в том, что среди этих мальчишек и девчонок царило какое-то райское отношение друг к другу. Я чувствовал себя как в раю. В каком плане? Это была непередаваемая атмосфера. Мы относились друг к другу, причём это было совершенно естественно, с какой-то трогательной любовью и нежностью. И это выходило за всякие рамки отношений между людьми активного подросткового возраста, когда мальчишки любят драться и так далее, когда бывают случаи детского насилия, насмешек и прочее. Это, конечно, вполне нормально, но здесь… Здесь было ощущение, что дети превратились в каких-то ангельских существ, сами не подозревая об этом, это было естественно, трудно было даже впоследствии пережить в таком значительном коллективе людей такое нежное и чистое отношение друг к другу. Это сочетание чистоты, дружелюбия и нежности так обволокло меня, что я действительно почувствовал, что живу в каком-то раю. О чём были наши разговоры? Да разные, обычные. Помню, кто-то из мальчишек как-то спросил меня:

– А кто верил в Бога?

Я ответил:

– Ну, многие писатели.

И почему-то в числе других упомянул Горького. Ведь Горький действительно, пусть и по-своему, но в Бога верил. И когда я ответил, мальчишка развёл руками и сказал:

– Ну, раз такие люди верили (а я в числе прочих упомянул Пушкина, Толстого; Достоевского – ещё нет), значит, Бог точно есть.

Это был самый философский разговор в нашей среде.

Но это время закончилось, и когда я покинул пионерлагерь и очутился на улицах Москвы, я почувствовал, что ушёл из рая и что рай не может быть везде. Вроде нормальная, хорошая жизнь. И люди хорошие. Но одновременно здесь присутствовало зло. То, что зло есть, я почувствовал ещё раньше, в глубоком детстве, но по исходе из «рая» вспомнил об этом. Окружающая жизнь была сложной, но нормальной. К нам прекрасно относились в нашей коммуналке, но, конечно, это был уже далеко не рай…

Что до зла, то его я впервые ощутил в детстве, при странных обстоятельствах. Мы тогда жили за городом, и я попал на дачу наших знакомых… мне было лет пять, и до этого времени я жил, если не в раю, то, по крайней мере, в такой… по-детски чистой реальности. И если есть рай на земле, то, наверное, всё-таки в детстве… Это такое состояние, когда всё тебе кажется доброжелательным, добрым, по-детски возвышенным.

И вот я очутился на этой даче. Хозяева на тот момент куда-то ушли, дверь была не заперта, и я вдруг оказался перед столиком, на котором лежала очень красивая вещь. Я сейчас не могу припомнить, какая именно; вероятно, обычная безделушка. Но мне она показалась невероятно красивой, даже драгоценной. И у меня возникла мысль украсть её. Эта мысль настолько меня тогда потрясла, что я остановился как вкопанный. Потому что я почувствовал, что с этой мыслью в меня вошло зло. А раньше я видел зло лишь отдалённо – детский мир защищал меня. Но я видел некоторые угрожающие явления в природе. Был, например, случай, когда я играл на даче в саду, и вдруг почувствовал спиной, что на меня что-то надвигается. Это что-то была смерть. Я заплакал и ринулся в сторону, буквально на четвереньках, и тут прямо на то место в песочнице, где я только что копался, упало огромное дерево. Почему оно упало, я уж не знаю. Может, была непогода, ветер, а может что-то в самом дереве подгнило… А рядом стоял мальчик. Я подошёл и шёпотом спросил:

– Видал?

Он молча кивнул головой.

Я тогда ощутил, что в природе есть что-то враждебное человеку, а не только хорошее. Я почувствовал, что нечто странное есть в мире. Но, оказавшись на даче соседей и стоя перед этой красивой безделушкой, я понял, что зло может войти в каждого человека, в том числе и в меня. Это тогда так поразило моё маленькое существо, что я оторопел. Я не взял, конечно, этот предмет, но сам факт, что я мог его взять, что у меня возникло желание сделать это – потряс меня до глубины души… Я почувствовал, что зло может в общем-то легко овладеть человеком, что оно может появиться изнутри человека, что в нём может быть зло.

Между тем в Москве моя детская жизнь продолжалась. Я и потом бывал в пионерских лагерях, тоже почти в это же время. Там было хорошо, но такого ощущения, как в первом лагере уже не было. Там все дети как на подбор были как будто из какого-то забытого всеми христианского времени, когда люди по-настоящему любили друг друга. Если такое время было. Любить-то любят и сейчас, но я имею в виду какую-то совершенно спонтанную, чистую любовь, которая просто охватывала всё, самый воздух этой жизни. Так было в том пионерском лагере. Сами дети, видимо, начинали изумляться миром, им было 10–12 лет, и тем не менее они были такими.

Наконец я поступил в ту самую 122 школу, которую впоследствии закончил. И я запомнил ещё День Победы, 9 мая – всё это шумное ликование, солдаты, которых несли на руках, офицеры; в общем, все были бесконечно рады окончанию войны и главное – победе. Конечно, я тогда не мог, так сказать, ощутить всю грандиозность этого события для истории, для будущего России, которое будет уже на уровне некоммунистической, Новой России, России XXI, XXII, XXIII веков, когда свершится то, что говорилось в пророчествах. Но радость была и было облегчение.

Потом – обыкновенная школьная жизнь и движение к возрасту, когда человек начинает действительно познавать, куда он попал, в какой мир, на какую планету… На которой живя, он может пропасть. Или на этой планете можно жить и строить будущее – не только во времени, но и после ухода в другой мир.

Школьные годы были трудными, потому что началась дисциплина и все особенности школьной жизни… Я учился там с Вадимом, с которым мы дружили всё это время; он тоже вернулся из эвакуации. Мы занимались какими-то фантастическими играми. Но уже примерно с восьмого класса началось вхождение в ту грозную реальную жизнь, которая окружает всех людей на нашей планете.

1. Отец Виталий Иванович Мамлеев (справа в форме) с дедушкой

2. Мама Зинаида Мамлеева (в девичестве – Романова) у няни на руках

3. Юрий Витальевич Мамлеев

4. Зинаида Мамлеева. Москва, из семейного архива

Школа

Итак, потянулись школьные годы, представляющие собой странную смесь хулиганства и дисциплины. В общем, и жизнь была такой. Первое время – пятый, шестой, седьмой классы – было наиболее трудным, потому что всё то, что я ощущал в детстве, когда душа только вступила в этот мир и была ошарашена им, ушло и уже входило в свои права полувзрослое, мертвящее сознание, которое убивает все тайны и нужные для жизни силы души.

Период был непростой. Правда, в это время, кажется, в седьмом или в восьмом классе, летом я съездил с одним хорошим знакомым, человеком уже взрослым, на его родину, в деревню, в Смоленскую область. Послевоенная деревня это была. Там я приобрёл необыкновенный, бесценный опыт – всей душой впитал дух русской деревни. И потом, когда я уже познакомился с поэзией Есенина, мне многое стало понятно. Мы остановились у родителей моего знакомого – это была православная семья. Были ощущения присутствия того, что невозможно увидеть в городе – некоей скрытой реальности, таящейся в природе.

Мой знакомый был студентом литинститута. Мы с ним спали на сеновале. И был там замечательный телёнок – из живности он мне запомнился больше всего, потому что было трудно представить себе более милое и жертвенное создание. Тут сразу вспоминается есенинская «Корова».

По возвращении в Москву я вновь окунулся в учебники, в школьную жизнь… Успевал я, конечно, больше по гуманитарным предметам. Хотя и математика давалась неплохо. Но хуже всего дела обстояли с физикой. Однако вскоре произошло одно горькое событие, которое, тем не менее, повлияло на меня особым образом. Умерла бабушка, Полина Кузьминична. Её муж, художник, умер ещё во время войны – у него был туберкулёз. Я помню портрет бабушки начала века. Она была красавицей. На ней было платье в декадентском духе, и от неё веяло изящной красотой Серебряного века.

На похоронах были все родственники – тётушка Елена Петровна и мама. Спустя некоторое время после похорон, которые на меня подействовали, я вдруг ощутил – не теоретически, а явственно – бессмертие души, в данном случае – своей. Описать это довольно трудно, но суть состояла в том, что душа во всей её силе проявилась так, как ей и положено проявляться, о чём я узнал уже впоследствии – вот этот факт проявления души был настолько сильным и настолько в этом заключалось внутреннее осознание, что душа бессмертна, а, следовательно, и я бессмертен, что это поразило меня, но, увы, не получило развития. Я был ошарашен, рад, и главное – я почувствовал, насколько душа важнее не только всего, что есть в мире, но и самого мира со всеми вселенными; что всё это – ничто по сравнению с душой.

Довольно быстро я вернулся в обычное состояние, к обычной жизни, где было общее давление настойчивого духа атеизма, материализма, который носился в воздухе параллельно с необыкновенной душевностью людей – кстати, типично русский пример сочетания несочетаемого, антиномичность, о которой писал Бердяев. Поэтому в такой обстановке, а я ещё был фактически ребёнком, не было возможности, так сказать, обосновать вышеописанное переживание на уровне духовного, философского знания; это вспыхнуло и ушло в себя. Я продолжал жить между небом и землёй. Это состояние уже расцвело в 8–9—10 классах, когда я стал юношей, взрослым человеком. Влияние тут оказывала не только общая давящая обстановка с одной стороны, но и серьёзные книги, которые я уже начинал почитывать, а также друзья.

Среди школьных друзей я, пожалуй, отмечу Юрия Баранова. Мы шли параллельно – он в восьмом – я в восьмом, он в девятом – я в девятом. Это был, надо сказать, талантливый человек, который впоследствии, окончив Институт радиотехники, стал поэтом. Тогда же, в школьную бытность, он писал слегка сюрреалистические, гротескные стихи, и это приво-

дило меня в восторг, потому что помимо гротеска в них было высмеивание некоторых наиболее нелепых черт советской действительности. Он умел видеть их. Мы пытались вести тихонькую стенгазету, которая называлась «Наша печь» – орган комсомольской организации, созданный при не совсем радостных ритуалах кремации человека. Стихи у него были очень задиристые, в них символически выражалась наша таинственная русская лень, когда хочется отключиться от всего:

Я лежу на печке в золотых лаптях
Гробовые свечки на моих путях
На путях вороны, на путях кресты
Оттого я тронут, оттого остыл.

В этих стихах был любопытный сдвиг, но первая строчка символична – «я лежу на печке в золотых лаптях». «В золотых лаптях» – то есть одетый в ауру древнего мира. Это здорово, потому что это выражает какой-то русский символизм: я лежу на печке, значит, я лежу и мыслю, потому что одновременно с русской ленью здесь присутствует подпольное движение мысли. В русском человеке это было всегда, и это замечательно. И золотые лапти – это прекрасный образ, потому что в нём есть и ирония, и сюр, и вместе с тем некая лихая надежда.

Был у меня в школе ещё один друг, которого я знал ещё с тридцатых годов, совсем малышом. Этого юношу звали Анатолий Чиликин. Его мать была из настоящей дворянской семьи, и мы дружили семьями до войны. И там, в этой семье, я, ещё мальчиком, впервые почувствовал ауру ушедшей России, которая, тем не менее, присутствовала. Это было замечательно, незабываемо – в этой семье царила атмосфера образованности, мягкосердечия, человечности. Мама Анатолия работала в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Наши отношения основывались больше на чисто интеллектуальных интересах, которые, конечно, уже пробудились к тому времени, и как раз в девятом-десятом классе я начал знакомство с немецкой философией, поскольку она считалась предтечей так называемого «диалектического материализма». Это нелепейшее, абсурдное учение, выраженное не менее абсурдным словосочетанием, Карл Маркс (который, кстати, во многом выстроил это учение под впечатлением произведений Бальзака, создавшего гениальные картины жизни XIX столетия) и иже с ним с глубокомысленно-серьёзным видом продвигали в жизнь. Одна нелепость сменяла другую. Единственное, что действительно было страшно – это взрыв негодования, которое объяло весь рабочий класс не только России, но и Европы, и всё из-за патологической алчности буржуазии и её наглого поведения, приведшего к Первой мировой войне. В этом была сила марксизма-ленинизма.

Кумирами у меня тогда были Кант и Гегель как две противоположности. Толя Чиликин тоже был ориентирован на философию, которую он использовал как инструмент переосмысления литературы и искусства. Я постепенно вовлекался в этот процесс. Как ни странно, более таинственным мне представлялся не Гегель, а именно Кант с его «вещью в себе». Всё это было в вихре юношеской жизни. Значительно большее влияние, чем философия, на меня оказала русская литература. Книга, которую я прочёл в десятом классе и которая по-настоящему потрясла меня, были «Записки из подполья» Достоевского. Подтекст этой гениальной повести был настолько глубок, что становилось очевидным влияние Достоевского на весь европейский экзистенциализм. Вместе с тем этот удивительный текст проникал в сознание человека и через совершено другую, если можно так выразиться, «восточную» дверь. Но, разумеется, необходимо было углубиться в это произведение, что и произошло впоследствии. На описываемом же этапе я просто был потрясён прочитанным. Я пока не

мог сформулировать то, что чувствовал, – для этого требовались метафизические знания и интеллектуальная интуиция. Это пришло потом.

Впоследствии на меня произвела огромное впечатление «Смерть Ивана Ильича» Толстого. И понятно, почему. Здесь сыграла роль совершенно чудовищная художественная сила этого произведения, которая убедительно показала господство смерти над жизнью. Это было страшно. Хотя понятно, что смерть имеет власть лишь на этой земле, а дальше терпит поражение, потому что в конце тоннеля всегда есть свет. Толстой был одержим поиском абсолютной истины и не боялся смотреть ей в глаза, потому что глаза истины – это глаза сфинкса. Видеть истину – это гораздо недоступнее, чем видеть ад.

Также (это было в восьмом-девятом классе) сильное впечатление на меня произвела проза Горького именно в аспекте изображения потаённой провинциальной жизни, странных субъектов с необычной психологией и видением жизни. Я имею в виду такие его вещи, как «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина». Его странствия «По Руси» были очень для меня интересны. И только в конце школьного обучения появились Блок и Есенин, которые совершенно пленили мою душу.

Разумеется, по окончании школы встал вопрос: куда пойти учиться дальше? Мои школьные учителя по гуманитарным предметам не сомневались, что я пойду на филологический – таковы были мои склонности; здесь и раздумывать было нечего. Но я уже тогда понимал, что изучать литературу в советское время – дело опасное. Я помнил судьбу отца. И моё тогда ещё скрытое мнение поддержал, сам не ведая того, наш замечательный учитель физики, Евгений Рудольфович, – пожалуй, самое интересное лицо в галерее учителей. Это был человек уже пожилой, старой закалки; он был николаевским офицером, может быть, даже служил в императорской гвардии, и одновременно был очень образованным человеком. Разумеется, принимая во внимание такое его прошлое, советская власть запретила ему преподавать в высшем учебном заведении, хотя с его образованием он мог бы спокойно это делать. И именно он почему-то всё время повторял, что тем, кто имеет склонность к литературному творчеству и вообще к гуманитарной сфере, лучше всего идти в инженеры – он не стеснялся выразиться, что инженеры будут нужны при любом политическом строе, намекая на то, что литература – очень опасное занятие. Однажды я присутствовал на каком-то собрании абитуриентов, и я сразу почувствовал, что я там себя обнажу; я услышал, в каком контексте там звучали имена великих поэтов Серебряного века, и после этого мне осталось только развести руками.

Делать было нечего, я внял совету и поступил в Лесотехнический институт на факультет, который давал диплом инженера лесного хозяйства. Но это была уже совершенно другая история, шёл 1950-й год; к этому времени в мире произошли события громадного масштаба: возник коммунистический Китай, в России появилась атомная бомба, в общем, это определило дальнейшее политическое и историческое развитие мира сего. Мы оказались в ситуации двуполярного мира.

Институт

В институте я сразу почувствовал разницу между школой и высшим учебным заведением. В институте никто тебя особо не контролировал, можно было даже пропускать лекции. И сразу тяжёлые оковы школьной дисциплины упали, я почувствовал себя более свободным в бытовом смысле. Учёба поначалу давалась мне очень легко, учитывая, что шёл первый курс, основанный на общих предметах. В Лесотехническом институте была замечательная кафедра математики, где преподавали известные профессора московской школы.

Поступление в институт ознаменовалось тем, что в 1953 году произошёл своеобразный взрыв в моём сознании, благодаря которому я получил возможность заниматься настоящим творчеством, то есть создавать свой собственный мир, собственный космос и видеть людей так, как до этого их не видел никто. Это был, конечно, переворот, и когда я показал свои первые рассказы, ещё очень неумелые, Толе Чиликину, он, погруженный в психологию творчества, сразу просёк, что это «то». И он сказал мне:

– Ты – писатель.

Хотя, конечно, первые рассказы были далеки от совершенства – я только ещё нащупывал язык и образы…

Итак, началась довольно хаотичная студенческая жизнь. Я сразу вступил в более широкий мир, чем было возможно ранее. В институте меня окружали самые разные люди… С одной стороны – лесопарковый факультет, милые девушки, интриги, с другой – наш факультет лесного хозяйства. Там учились ребята, словно прямо из лесу – в случае чего могли схватиться и за топор. Лесные люди, одним словом. Шутить с такими было опасно.

Кроме того, стартовала и понеслась московская жизнь с её встречами; круг общения значительно расширился. Но я не находил такого рода друзей, какими были, скажем, Анатолий Чиликин, Юрий Баранов и другие товарищи по школьным временам… В общем, всё там было, в этой хаотичной жизни – даже военные лагеря, поскольку в нашем институте была военная кафедра, и мы пару раз окунались в военную жизнь. Делали мы это с жаром и упоением, потому что нам нравилось встречать трудности и преодолевать их.

После учёбы вступала в свои права довольно свободная по тем временам вечерняя жизнь… Помню знаменитый коктейль-холл на улице Горького, где можно было попробовать изысканные напитки в западном духе. Я любил там бывать, это было эстетически интересно. Были встречи с разными людьми, были девочки и мальчики, часто интересующиеся тем, что выходило за рамки социалистических воззрений, хотя и не слишком далеко… Одновременно я посещал могилу Есенина, где собиралась совершенно другая публика. Это были люди средних, даже пожилых лет, но тем не менее надрыв и нечто иррациональное так и светились в их глазах и в том, как они читали стихи великого русского поэта.

Но если говорить о действительно глубинной, мистической поэзии, то, конечно, в этом отношении мной всецело владел Блок. Этот гений проникал в такие тонкости и отражал в себе и страшный мир современности, подобный дантовскому аду, и рай любви к Прекрасной даме, что немного соответствовало раю Данте. Среди студентов Лесотехнического института было два-три с моей точки зрения интересных человека, но один из них был слишком чувствительным и ранимым, и он не выдержал тягот земного пути. Я имею в виду, конечно, не в политическом, а в экзистенциальном смысле. Он покончил с собой. Но это было всё-таки исключением… Также на нашем отделении обучался совершенно уникальный персонаж. Это был в общем-то хороший парень, добрый, хоть и со странностями. Главной чертой его была совершенно фанатичная, средневековая погружённость в марксизм-ленинизм. Для меня это было не только нелепо, но и смешно. По любому, даже житейскому поводу этот человек обращался к Карлу Марксу, к Ленину или к Энгельсу. К классикам, одним словом.

Копался в их сочинениях, письмах, редких изданиях. Например, у него были проблемы в отношениях с женщинами, и он полагал, что только Маркс способен их решить. И он скрупулёзно выискивал в сочинениях Маркса алгоритмы решения сексуальных проблем. Этот персонаж был, конечно, произведением той эпохи, в которую мы все жили, но всё-таки поражала столь нелепая, фанатичная погружённость и вера в то, что марксизм-ленинизм разрешит все вопросы… Нет, не становилось страшно за людей. Наоборот, было смешно, тем более что этот парень представлял собой исключительный случай. Другие, так сказать, ярые коммунисты относились к учению Маркса вполне здраво и допускали даже, что оно может быть в корне ошибочным.

В 1953 году произошло два события. На одном из них я ещё буду останавливаться далее, а сейчас отмечу, что тогда произошёл поворот, благодаря которому я стал писателем. Это было своеобразное глубокое озарение, которое стало результатом реализации особого видения мира и людей и способности видеть их самые закрытые, тёмные, глубинные стороны, которых они сами в себе не подозревали. В моих героях (в будущем, конечно) стали раскрываться черты невидимого человека, невидимого даже для самого субъекта этих скрытых сторон. Но тем не менее этот невидимый человек мог определять жизнь того или иного героя, хотя тот мог этого и не подозревать. Обычная жизнь становилась для меня всё более и более фантастичной. Это было другое откровение по сравнению с тем, о котором я только что говорил.

Ну, и вторым событием, уже совершенно другого плана, была смерть Сталина. Надо сказать, что советская пропаганда делала всё возможное, чтобы в значительной мере вызывать негативное отношение к тем культам и образам, которые ей же когда-то воспевались – настолько она была неуклюже груба. Но всё же это не относилось к культу Сталина, потому что этот культ родился из нашей величайшей победы, которая определила совершенно другое направление мировой истории, чем могло бы быть. А для России это был знак предопределённости её великого будущего и её предназначенности, которая могла прийти уже тогда, когда коммунизм исчез… Ведь он не вечен (так думали мы, уже будучи на Южинском, в наших закрытых кружках 60-х годов). Во всяком случае, я понимал, что спасая от европейского фашизма Советский Союз (и коммунистическую систему, конечно), мы в то же время спасаем не только народ, но и будущую Россию, которая уже наверняка не будет коммунистической, которая сбросит с себя коммунизм, как ошибку, как утопию. В общем, защищая СССР, люди защищали Россию будущего, традиционную Россию. Они защищали прошлое России и её будущее. Поэтому имя Сталина как бы двоилось – с одной стороны, тиран и узурпатор, с другой – вождь великой победы. Я помню, кто-то говорил мне, основываясь на древних религиозных книгах, что когда великий народ попадает в труднейшее положение и может погибнуть, как, например, Россия после большевистской революции, то Бог посылает в эту страну диктатора, пусть даже самого жестокого, потому что только диктатура и жёсткие меры могут спасти такую страну от гибели.

И действительно, подобная ситуация была в 30-е годы. Если бы Сталин не создал всю эту военную промышленность за счёт продажи хлеба и ограбления крестьян, Россия бы погибла; она не смогла бы выдержать напора фанатичной гитлеровской армии, вооружённой по последнему слову техники… И вот это двойственное отношение к личности Сталина, конечно, дало о себе знать… Были люди, которые откровенно радовались смерти вождя, но таких было меньшинство. Основная масса, народ, переживала смерть Сталина как настоящее горе, как личную утрату, поскольку это был не только человек, но и символ. Искренние слёзы были у многих на глазах, в том числе и у обитателей нашей коммунальной квартиры. А проводы – это было уже что-то из ряда вон выходящее; все чувства смешались в этом порыве.

Что касается меня, то к 1953 году я был уже убеждённым антикоммунистом. Чашу терпения переполнили идиотские философские тетради Ленина, чьи аргументы сводились к выражениям типа «сволочь идеалистическая» или просто «сволочь». Такая уж была у него философия. К смерти Сталина я отнёсся довольно спокойно и воспользовался этим событием, чтобы прогулять институт. Целых две недели я безнаказанно наслаждался свободой.

В определённых слоях интеллигенции было ощущение, что какой-то исторический период закончился. Он действительно закончился, потому что вскоре был арестован Берия, людей стали выпускать из лагерей, и пошла совершенно иная жизнь, чем при Сталине. Я по-прежнему живо интересовался философией и литературой и писал к тому времени уже совершенно свои, «мамлеевские», рассказы, хотя рассказов было мало – мне трудно было войти в определённое состояние… Чтобы писать так, как я открыл, нужно было войти в некое состояние сознания; это было трудно, но зато, когда мне это удавалось, всё уже текло само собой. И только впоследствии всё из сложного превратилось в простое. Я стал писать свои вещи, уже без труда входя в это состояние. Оно стало настолько мне свойственным, что я уже не отличал, когда оно возникало – в то время, когда я писал, или продолжалось в течение так называемой обыденной жизни.

Жизнь текла довольно хаотичная – путешествия в Петербург, в Подмосковье, встречи… Во всём этом было много неопределённости, поскольку я не мог дать себе ясного ответа на вопрос: имеет ли смысл адаптироваться хотя бы в какой-то мере к советской жизни или же нет. И тогда случилось большое горе – умерла моя мать. Это было в 1955 году. Я остался один. И почти одновременно с этим произошло событие, которое определило мою дальнейшую жизнь, вернее, оно послужило неким внешним толчком, который определил мою жизнь и повёл её в том направлении, в каком мне действительно было нужно – мне и моему внутреннему человеку (тому невидимому, который бессмертен). Это событие, казалось, было внешне незначительным. Оно было связано с моей болезнью – болезнью почек. Но поскольку врачи диагностировали хронический нефрит, это во многом сразу разрубило все проблемы, которые стояли передо мной, и они решились в том ключе, что я просто решил оборвать все мои связи с миром в социальном плане и быть одному.

Просто обозначился рубеж. Та жизнь кончилась, началась другая. Проблема заключалась в том, что эта болезнь, если здесь не было врачебной ошибки, могла значительно укоротить мою жизнь. Теперь все принимаемые решения так или иначе были привязаны к этому событию.

Неконформистская Москва

1958 год. Мне 26 лет. Я один. Позади – военное детство, смерть отца, лесотехнический институт, диплом инженера, смерть матери. Братьев и сестёр – нет. В настоящем – разлом, пропасть, неизвестность, вопрос. Два явления определили это состояние – товарищ Смерть и творчество. Товарищ Смерть, как я уже сказал, пришла в виде диагноза по поводу болезни почек (хронический нефрит). По этому диагнозу, жить оставалось максимум лет пятнадцать, если чудо – то двадцать. А мне всего двадцать шесть.

Другое явление случилось ранее – в 1953-м, в год смерти Сталина. Я вдруг почувствовал, что могу стать писателем. Под этими словами я имел в виду не умение писать, даже художественно, а умение воссоздать целый своеобразный мир, пронизанный глубинным философским мировоззрением, раскрыть тайник человеческой души и понять, насколько она бессмертна.

Проходя по любимому мной Тверскому бульвару, где стоял тогда памятник Пушкину, а сейчас стоит памятник Есенину, я внезапно ощутил, что в моей душе что-то открылось, и я увидел и мир, и человека не такими, какими они были раньше. Это и значит быть писателем. До этого события, как я уже упоминал, у меня были литературные опыты – два рассказа и несколько стихотворений. Это было хорошо написано, вполне годилось для публикации, но это было абсолютно не то – это не несло никакого прорыва, духовного, мировоззренческого, художественного. Но прорыв произошёл, и я стал писать рассказы, но чтобы так писать, надо было, во-первых, впасть в определённое состояние сознания, которое позволяло видеть то, что соответствовало такому прорыву, озарению… Во-вторых, нужно было адекватно всё это выразить, должен был появиться соответствующий язык. Поэтому первые рассказы давались с большим трудом; они были неуклюжи, эти первые опыты. Но в конечной творческой реализации я не сомневался.

О публикации в Советском Союзе и речи быть не могло. Сейчас, в XXI веке, трудно себе представить, насколько нелепы и жестки были ограничения, наложенные на русскую литературу. Это уже была не цензура (при цензуре вполне могла появиться великая литература; пример – русская и европейская классика), а тупые идеологические и художественные требования, казарменные по существу. Это, к моему ужасу, фактически погубило советскую литературу как явление культуры. Да, таланты были, но тюремные оковы так называемого социалистического реализма душили всё великое, на чём зиждилась русская классика.

Действительно, о религии, поисках духовного смысла бессмертия не могло быть и речи в этой литературе, кроме изредка мелькавших жалких намёков. В то время как русская литература отличалась именно глубоко философскими, метафизическими исканиями, что и определило её высочайшее место в литературе мировой. Но всё подобное запрещалось в СССР, поэтому между русской и советской литературой лежала непроходимая пропасть, глубочайшее качественное различие, которое никаким талантом нельзя было уничтожить. Это было ужасно; фактически, русской литературе как мировому явлению, сравнимому, как писали на Западе, с третьим чудом света в сфере культуры и духа, был нанесён смертельный удар. Ничего более трагического и жуткого в сфере культуры не было. Более того, поскольку в человеке есть не только божественное начало, идиотически отрицаемое марксистско-ленинской философией, но и противоположное, ибо, как известно, зло тоже заложено в человеке, глубокое познание человека вне его связи с мировым злом немыслимо. И это отражено в нашей немыслимой по своей глубине русской классике, особенно если вспомнить её сверхгениев – Толстого и, конечно, Достоевского.

Но и эта трагическая, реально действующая линия, стрелой своей направленная в бездну, была запрещена. Но ведь без познания зла невозможно его изживание. Получался в

советской литературе некий искусственный новый человек, безжизненный, построенный на истерии создания некоей явной утопии, человек, отрезанный и от Бога, и от Дьявола. Говорят, что весь наш земной мир держится на заблуждениях, но заблуждение заблуждению рознь. Более нелепое заблуждение, чем материализм, трудно себе представить. Оно ударяло по духовно-историческому центру России, лишив человека всякой надежды на то, что реально существует, – бессмертие его души.

В духовном отношении ситуация в Советском Союзе была абсурдной, но таковой она была и во всём мире, пусть и в другой, более прикрытой форме. Что мне было делать конкретно? Идти по пути советской литературы, стать официальным писателем означало погубить свой только что открывшийся, весьма необычный талант, которому не было места в советском официозе. Такой выбор был бы нелеп и смешон – нельзя менять Божий дар на яичницу.

Надо сказать, что в самой советской жизни, в отличие от «зеркала» соцреализма, кроме абсурда присутствовал и Бог, и мировое зло, и боль – в общем, всё, как и полагается в человеческом сообществе.

Итак, смерть и творчество. Парадоксальное, таинственное сочетание, неизбежно ведущее к какому-то прорыву. Но прорыву куда, во что? Тем не менее, это сочетание привело меня к решению: никакой семьи, никакой социальной внешней «карьеры» и ненужной работы. Должны быть: свобода, стихия жизни, творчество и познание – кто мы, откуда пришли и куда уйдём после этой страшной жизни. Страшной и прекрасной, как биение бытия. Разрешить загадку смерти, а точнее, бессмертия во что бы то ни стало. Инструменты – интуиция, высший разум и книги… И будь что будет. Смешно перед лицом смерти, творчества и Бога копаться в суете повседневности.

Передо мной было поле жизни. Но надо было ещё осознать, что случилось со страной, где я родился. Для меня тогда это не был Советский Союз. Это была Россия, растоптанная и оккупированная кастой большевистских захватчиков. Это была страна, когда-то породившая величайшую литературу, музыку, вобравшая в себя христианскую веру, великая тысячелетняя держава и империя. Она не погибла, она была, как живая, она смотрела на меня страницами Пушкина, Достоевского, музыкой, сводящей с ума, песнями, природой, деревней, Есениным.

Звёзды смерти стояли над нами
И невинная корчилась Русь, —

писала тогда Ахматова. Да, именно невинная. Таково в то время было моё мироощущение в плане своей Родины. Переживалось это весьма болезненно.

К тому же оно частично поддерживалось тем обстоятельством, что в то время, в 50-е и 60-е годы, ещё много было людей, которые жили и получали образование в дореволюционной, подлинной России. Они были рядом, они были живыми свидетелями. Их глаза ещё светились той Россией. В основном это были образованные люди, с которыми я общался ещё в ранней юности, с сороковых годов.

Наконец, отсутствие свободы творчества, мысли, политический деспотизм дополняли эту картину. «Какую страну мы потеряли», – этот мотив звучал все эти годы. Это было правдой, исторической правдой, но это далеко не вся правда, не полная правда, особенно если коснуться ситуации во всём мире. Иллюзии относительно «свободного Запада» стали болезнью советской интеллигенции в 60-е годы, но об этом потом. Хотя уже в то время я чувствовал, пусть и смутно, что весь мир охвачен глубоким, чудовищным падением, имени которому ещё нет на земле. К тому же живые свидетели революции 1917 года и Первой мировой войны не раз говорили мне о том немыслимом предательстве, которое совершили наши западные

союзники по отношению к России и которое во многом определило трагический ход нашей истории в то время. И это несмотря на то, что именно Россия своей кровью спасла Запад от полного разгрома в начале войны во время наступления немцев на западном фронте.

Мне надо было как-то дальше жить. Работать я устроился преподавателем математики в вечерних школах, давал частные уроки. Но эту деятельность я свёл к минимуму, в смысле времени. Время нужно было для другого, благо, в советскую эпоху не было опасений, что социально пропадёшь, останешься на улице, без квартиры и так далее.

Хорошо, но оставалась одна проблема. Писать можно, читать тоже, читальные залы Ленинской библиотеки были открыты для всех, кто имел высшее образование, философская классика была доступна, стихия жизни тоже, но оставался вопрос о среде. Кому читать то, что мной написано, с кем общаться на том уровне, который был мне необходим? И тогда сама собой возникла идея Ленинской библиотеки (ныне известная всем Государственная библиотека рядом с памятником Достоевскому), точнее, её курилки, где обычно собирались покурить посетители читальных залов. Оглядевшись, я понял, что там нетрудно найти интересных собеседников. И потом, по ниточке, как в сказке, я вышел на человека, который был мне нужен. Звали его Лев Петрович Барашков. Был он старше меня лет на 10, но чем он занимался, было неведомо. Да я и не спрашивал, главное – он окружил себя несколькими любопытными, точно с неба упавшими персонажами. Никакого конфликта с советской властью у них не существовало и в помине, сами их интересы лежали в сфере, которую советская власть не считала уже существующей, с которой покончено в Советском Союзе раз и навсегда. Покончeнные, покойники, так сказать, принадлежали к сферам религии, христианской в особенности, «идеалистической философии», к мистике, восточным воззрениям и тому подобному. Советская власть была настолько тогда уверена в самой себе, в своей победе над религиозным мракобесием, что вдруг открыла для чтения отдел запрещённых книг, книг именно по этим мракобесным темам. Дескать, может быть, для историков по уже мёртвому прошлому эти книги представят интерес, и кроме того, можно наглядно показать, как тысячелетиями заблуждалось человечество, веруя в Бога и бессмертие души. И только, кажется, в начале 60-х годов эту лавочку опять прикрыли, ужаснувшись тому интересу, который проявили советские люди, включая молодёжь, к этому мракобесию. Книги не только читались; их фотографировали и воровали, несмотря на все опасности, связанные с нарушением Уголовного кодекса. Хоть и мракобесие, но всё-таки социалистическая собственность. Эти книги потом расползались по Москве, перепечатывались на машинке, а книги там попадались действительно удивительные.

Другим источником самопознания были книги (в том числе и Библия), которые как-то проникали к нам с Запада сквозь железный, но уже ржавый, занавес.

Лев Петрович любил выпить, и этим первоначальное общение облегчалось. В Москве тогда было множество пивных, закусочных, вообще уголков, где можно было посидеть за смехотворную цену. Лев Петрович, правда, сразу предупредил меня в одном из таких уголков, что его приятели – люди глубоко сумасшедшие, но в целом таковым Лев считал весь род людской.

Сам Лев был очкастый, глаза блестели внутренним умом, и он, в общем, напоминал бродячего интеллектуала. Нет, извините за это двусмысленное западное слово. Скорее он напоминал бродячего ниспровергателя истин мира сего, современного мира. Он обожал тайники человеческой души и этим жил, находя их и в самом себе, и в людях. А «истины» он опровергал, чтобы открыть тайничок… Он был крайне занимательным собеседником, но иногда страшноватым. Вдруг не то, что надо, откроет?

Он и познакомил меня с несколькими людьми, из коих особенно впечатлили меня Костя Пучков и Марк Доброхотов. Все эти люди, окружавшие меня в конце 50-х годов, не стали впоследствии известными или знаменитыми, как многие из нашего окружения в

шестидесятые. Они не писали стихов, не рисовали картин, не занимались политикой. Но это было не так важно. Они поражали меня своей личностью, а это главное, и кроме того, они напоминали тех бродячих, немыслимых, глубинных людей, которых описывала русская литература; кстати, и Горький в рассказах «По Руси». Эти, современные, помогали мне углублять и образы моих героев. У них были живые души, безмерные, непредсказуемые и шальные… Попался среди любителей курилок (на этот раз – Исторической библиотеки) и один уголовник, Юлик, большой поклонник поэзии, особенно поэмы Лермонтова «Демон», которую знал почти всю наизусть. В душе он считал себя не уголовником, а главным героем этой поэмы. Я охлаждал его претензии, убеждая его в том, что человек не в состоянии сколько-нибудь адекватно изобразить падшего ангела – он неизбежно до неприличия очеловечивает его.

– «Демон» Лермонтова, – говорил я ему в какой-то пивной за кружкой пива, – несомненно, одно из ярчайших изображений в литературе. Но посудите сами, Юлий, как может человек описать существо, живущее, условно говоря, миллионы лет, в совершенно ином мире, по человеческим понятиям, – бессмертное, обладающее абсолютно иным разумом и волей, чем мы! Это невозможно.

Юлик угрюмо молчал, и только в его глазах вспыхивали зловещие искры. Оказалось, он недавно только «откинулся». Попутала его, видимо, чрезмерная любовь к презренному металлу – свойство отнюдь не романтическое. Но сам Юлик уголовником себя не считал, уголовниками у него были люди, власти, словом – весь мир. Себя же он принимал за страдальца и действительно страдал. В моём окружении он вызывал сочувствие. Даже Костя Пучков, странный эстет, потрясённый на всю жизнь смертью своей матери (она погибла на его глазах при землетрясении в Ташкенте), не брезговал общением с ним. Скорее наоборот. Ведь Костя вообще, на мой взгляд, оценивал человека по степени его страдания – чем выше уровень страдания, тем выше он ставил человека. Словно других оценок не существовало.

Юлик простонал в нашей компании полгода; занимал деньги, а потом исчез навсегда. Вероятней всего, пропив эти деньги, помер: его мучили редкие тяжелые заболевания, включая повышенное давление. Все это он, видимо, нажил в тюрьме. Костя не обиделся на него за исчезновение с деньгами.

– Исчез, так исчез, – сказал он. – Ему виднее.

Сам Костя впоследствии утонул. Это случилось значительно позже, в конце 60-х годов. Я коснулся его личности в романе «Московский гамбит». Поэтому остановлюсь на Марке Доброхотове.

Главным сокровищем Марка была библиотека, состоявшая из множества ценнейших книг по православному богословию, включая учения отцов церкви, и особенно некоторых совершенно редких книг и трактатов. Сам он был человек тихий, пьющий, чуть постарше меня, семьянин (сын и жена), разумеется, глубоко верующий. Привлекал же он к себе внимание именно своей библиотекой. Внимание, в том числе, было и со стороны власти. К счастью, время (конец 50-х годов) было уже другое, сажали только за конкретную антисоветскую деятельность, и то, если человек не исправлялся после соответствующих бесед. Но подобная библиотека раздражала власть – ведь это были не книги где-нибудь в официальной духовной академии, а в частной коллекции, стало быть, их можно было распространять, давая читать другим людям.

Именно это, после внушительных бесед, и запрещалось делать. Доброхотов Марк внимал этим беседам, но ослушивался. Это нервировало власть – получалось, что давно поверженный вдруг вновь подымался. Так или иначе, но гостеприимный дом Марка был всегда открыт для меня, и беседы там велись иные, мы старались понять то, что мир не вместил. Но и хохота было достаточно. Марк порой лихо запивал, правда, больше был склонен к пивному

пьянству, а это было как раз то, что я любил в московских пивных. Я там лично сталкивался с интереснейшими персонажами.

Не забуду один теологический спор. Окружённый тремя молодыми людьми (это была простая рабочая молодёжь), я что-то им рассказывал о бессмертии души. Они кивали головой, но вдруг один из них возьми и скажи:

– Бессмертие души – оно, конечно хорошо, но скучно. Я думаю, что весело тогда, когда после смерти ничего нет. Так жить слаще, страшней и интересней. А то – опять где-то жить, провались всё пропадом. Надо жить, когда корабль тонет. Так круче…

Вот такие парни из рабочих были в России тогда.

Другой случай, и тоже с ребятами, произошёл летом, около пивного ларька. Двое молодых парней, напившись пива, отошли в сторонку, на травку, и начали яростный спор. Один из них чуть не рвал на себе рубашку и, бия кулаком себе в грудь, кричал о том, что рабочий класс никто не понимает и никогда не поймёт, никто его не защитит и никто не уважает его душу. Другой же яростно опровергал, соглашаясь, что, действительно, никто не уважал и не уважает душу рабочего класса, кроме, однако, Владимира Ильича Ленина. Его друг отрицал и это:

– Ленин тоже не понимал и не уважал до конца. А главное – они все не вникли и не поняли эту душу изнутри.

Я был удивлён и умилён этой сценой. Странно, неужели тот молодой отрицатель не понимал, что речь он ведёт не о рабочем классе, а о простом русском человеке, которого, конечно, никакой Ленин и в том числе его противники никогда не знали и не понимали? На этом и споткнулись их последователи… А вот Горький многое понимал, потому что был писателем, хотя далеко не всё вмещал в этой необъятности.

Рабочие, «простые люди», не устраивали революции против советской власти, они просто пили. Это было их ответом на господствующую идеологию марксизма-ленинизма и на то, что из этой идеологии получилось.

…Все 58–59 годы прошли у меня во встречах с удивительными людьми, они были образованны, но крайне иррациональны, вроде того молодого отрицателя, и их знания были лишь платформой для манифестации их собственных идей и мироощущений. Пили они так же, как и так называемые «простые люди». Но это не мешало идеям и разливу души. Марк Доброхотов мужественно переносил внимание к своей библиотеке с теми, кого Бог пошлёт.

В это же время вынырнул и другой мой приятель на долгие годы – Илья Бокштейн. Был это трогательный человек лет 20–22, маленький по росту, уже больной… Он быстро воспринял то, чем были заняты умы нашего круга (от белой идеи до немецкой философии), но кроме того, он был поэтом, с каким-то внутренним хаотическим даром, безумным, на первый взгляд. Если бы не хаотичность и сбивчивость его стихов, озарённых мощным, совершенно ирреальным видением, из него бы получился по-настоящему большой и необычный поэт… Но о его судьбе, такой же необычной, как и его стихи (опубликованные уже после его смерти, за границей и у нас), я расскажу потом, по ходу событий.

К концу 1959 года я уже чувствовал, что дело не ограничится узким кружком никому не ведомых тогда искателей корня жизни и смерти. До нас доходили настойчивые, но полупотаённые слухи о разных салонах и кругах художников, поэтов и тому подобных, где советская ментальность начисто отсутствовала. Но это не означало, что она у них всегда была антисоветской. Предстояло с этим встретиться.

Но для начала нельзя вновь не коснуться моих частых посещений могилы Есенина на Ваганьковском кладбище. Это было место, которое много лет, включая шестидесятые-семидесятые, неизменно посещали люди, народ, поклонники великого поэта. Это, как я понял, случалось каждый день, не было дня, чтобы сюда никто не приходил. Я приходил туда, под «тени ветвей», к этой тогда ещё скромной, почти сельской могиле – и сколько смятения, слёз,

сердечной нежности, тоски и неожиданного подъёма духа я встречал… Словно сама земля там пела стихи Есенина. И, конечно, беседы, открытые, бесконечные… Трём словотворцам я обязан счастьем быть с ними всегда: Достоевский, Блок, Есенин. Но я рано осознал, в чём одна из причин, возможно, главная, воздействия стихов Есенина. Ключ лежал в магическом свойстве его поэзии. Далеко не все великие поэты обладают этим качеством. Оно – редкость. У Есенина это свойство выражалось не только в том, что его поэзия завораживала людей, но и в том, что за этим воздействием стояла сама русская земля, её леса и поля, и также сокровенные тайники русской души, скрытые тысячелетиями русской истории, видимой и невидимой.

Всё это, как из бездны, выходило на свет под воздействием магии есенинской поэзии. И иногда эта завороженность, принимая необъяснимые, чудовищные формы, входила в души людей и этими душами владела. Я думаю, на самом деле, сама Россия, вечная, древняя, выведенная на миг из советской околдованности, разбуженная стихами Есенина, входила в души всех нас. Здесь суть не в есенинской гениальности, данной ему от Бога, а в чём-то ещё большем. Пока жива Россия (а она, конечно, была жива духовно и в советское время), будет жить и поэзия Есенина, особенно стихи первой половины его жизни, когда Русь ещё не была осквернена революцией, а предстояла такой, какая она есть.

О Русь, Приснодева,
Поправшая смерть,
Из звёздного чрева
Ты пала на твердь.

Под покровом есенинской поэзии и особенно любимых книг русской классики я жил, точно хранимый этим покровом, несмотря на дикий разгул идеологического пустозвонного мракобесия, уже потерявшего свой первоначальный революционный, в чём-то даже мистический пыл. Медленно, но верно в душах людей побеждал Христос, как в поэме Блока «Двенадцать» – непонятой великой поэме. Великая страна продолжала жить в любые, самые жестокие времена, зная, что это пройдёт, и ей суждено великое будущее. И в Отечественную войну солдаты и офицеры защищали эту страну – кто с томиком Есенина в кармане, кто с именем вождя, а кто с православным крестиком на груди… И они защитили страну от вторжения в неё фашистской Германии с её беспредельным фанатизмом и яростью.

В начале 60-х годов мне открылась целая панорама необычных личностей, многие из которых стали потом знаменитыми. И я вошёл в этот круг, и обо мне как о писателе поползли разные, сногсшибательные для обывателей, слухи. Один из примеров: Юрий Мамлеев – реинкарнация Фёдора Достоевского. Другой ещё чище: Юрий Мамлеев – не человек. Но я, ведомый страстью к философии и литературе, рассматривал свои рассказы, стихи и первые записи моих философских ви́дений не только как творчество, но и как некие знаки, по которым можно узнавать, определять людей, близких мне по духу. И я находил и радовался. «Их» было много, как оказалось потом.

В самом начале 1960 года я попал в салон Елены Строевой и Юрия Титова. Их роскошная по тем временам квартира располагалась около площади Маяковского. Это был лучший антисоветский салон в Москве. Родители Лены были, видимо, обласканы этой властью, но дети, как всегда, восстали против отцов своих. Квартира эта, собственно, принадлежала Лене Строевой, а Юра был её муж, и была ещё дочка.

Эта чета изумляла. Лена, молодая женщина, лет около тридцати, блистательная, разумеется, образованная, привлекала к себе внимание не только своей весьма своеобразной красотой и умом, но и несколько болезненной яростью, с которой она относилась к советской власти. Это казалось необычным среди женщин, и израненные властью души тянулись к

ней. Один Гарик Модель чего стоил – маленький человек, но верующий, причём католик (он умудрился принять католичество в социалистической Москве, несмотря на страх). Он был очарован Леной, но её порой сильные эмоциональные порывы пугали его и вводили в недоумение. И судьба его определилась не Леной, а верой: в семидесятые годы он эмигрировал из Советского Союза, был по его горячей просьбе принят папой Римским и стал католическим священником.

Сама Лена относилась к своим многочисленным поклонникам по-разному (в их числе и я занимал скромное место), но порой упрекала их в том, что они, скорее, любят не её, а собственное чувство к ней, неся его как некое сокровище. Отблеск Серебряного века лежал на всём этом, но дикость советской жизни по сравнению с прежней, имперской, всегда вносила свои незабываемые нотки.

Юрий Титов, её муж, чуть постарше её, обладал несомненным живописным талантом, но его картины поражали больше драматическим напряжением религиозных сюжетов. Везде его храмы, лики окружал огонь, и было непонятно, что это – небесный огонь или огонь из преисподней, атакующий храмы и лики.

Всё это было мне знакомо: и религиозный экстаз Юрия, и декадентство Лены. Но, войдя в эту жизнь, я уже наконец-то увидел, что Москва наполнена разными кружками, «подпольными» поэтическими журналами и тому подобными явлениями – одним словом, рождался целый неконформистский мир, мир неофициального искусства и «нелегального» мировоззрения. Как ни странно, был здесь представлен и рабочий класс. Мой старый приятель ещё по 50-м годам, а впоследствии и по Южинскому переулку, Анатолий Корнилов, из глубинной рабочей семьи, но уже пописывающий вполне декадентские стихи, сказал мне один раз, когда мы возвращались с вечеринки у Строевой:

– Юра (он говорил, поражённый обилием философской, даже мистической терминологии, разливающейся на этой, не без алкоголя, вечеринке), – ты знаешь, я понимаю значение и суть этих слов из контекста всего разговора, но мы, выходцы из народа, относимся к ним иначе, чем вы. Для вас это привычные понятия, и вы сыпете ими как снегом. Для нас же всё это ново, и мы переживаем всё это до глубины. Иногда мне эти понятия снятся…

И, несмотря на своё происхождение от рабочего класса, он нередко повторял нам, касаясь разгрома дореволюционной России:

– Какую страну мы потеряли, друзья! Какую страну!!! Ведь действительно, «из звёздного чрева ты пала на твердь». Я согласен с Есениным!

В гостиной Леночки Строевой гостил и Солженицын. А на стене демонстративно висел портрет Джона Кеннеди, тогда ещё президента Соединённых Штатов.

Увы, человечество несчастно и в чём-то обречено: восстание против одного заблуждения порождает другое, может быть, не менее страшное. И такая цепочка может длиться без конца, словно история человечества – это история и борьба заблуждений. Но, конечно, есть исключения, и они значительны, иначе жизнь рода человеческого ничем не отличалась бы от кошмарного сна.

…Другая компания того времени, когда царила Леночка Строева, с которой я познакомился через Корнилова, была другого направления. Возглавлял её известный в 70-х годах Геннадий Михайлович Шиманов. О нём даже писали в американской прессе как о весьма неприятном субъекте. «Неприятность» его состояла в том, что он активно проповедовал в СССР христианство, православие и писал об этом в самиздате, за что умеренно и пострадал от советской власти. Но заокеанским властям он был, видимо, ещё более неприятен, чем советским, хотя уж такого особого значения ему не придавали. Старались в основном некоторые новые эмигранты из СССР.

Но тогда, в шестидесятых, когда я познакомился с ним, Шиманов, молодой комсомолец, был отпетым атеистом. Несмотря на это, он привлёк моё внимание искренностью и

горячностью своих духовных поисков. Но тогда получался некий абсурд вроде «атеистической религии». Я довольно настойчиво стал убеждать его в правоте христианской веры, тем более пред лицом мрачного атеистического миража. Не буду приводить здесь аргументов, это понятно всякому нормальному человеку, но Шиманов долго сопротивлялся, романтически принимая позу пусть и обречённого на ничто тотального материалиста, но гордо не сдающего позиции личной смерти и гибели.

Годика через два-три он, однако, сдался, разум взял верх, он крестился и стал достаточно глубоко изучать богословие, за что и был умеренно наказан. Но потом вышел и продолжил свою деятельность, ненавидимый и американскими толстосумами, и советскими атеистами.

Я, конечно, познакомил его с Марком Доброхотовым, и он преуспел в чтении великих книг Марковой библиотеки. И был потрясён, когда уже, кажется, в 1963 году я принёс ему весть об убийстве Марка где-то на тёмной улице, в Москве. Убийство это, я думаю, носило не политический характер, а бандитский или какой-то запутанно-бытовой. Дело это сугубо тёмное. Куда делась его бесценная библиотека, одному Богу известно.

Между тем в начале 60-х годов возник феномен, до того времени совершенно немыслимый. Я имею в виду периодические выступления, чтения вольных стихов у памятника Маяковскому в центре Москвы. Собиралась, главным образом, возбуждённая молодёжь. Срывались и на откровенную антисоветчину. Параллельно стали ходить по Москве самиздатовские малюсенькие, милые журнальчики со стихами. Но не всё там было мило для наших властей, хоть и потеплевших уже.

Я порой посещал эти поэтические митинги. И вскоре я узнал, что на одном из этих мероприятий как раз и был арестован Илья Бокштейн. Говорят, что он произносил настолько яростные антисоветские речи и призывы, что терпение властей не выдержало. Он произносил эти речи в силу своей полной или неполной отключённости от всех реальных угроз, существующих на земле. Его, маленького, посадили на несколько лет. Он не отказывался от своих убеждений, но к концу 60-х его выпустили. Мы встретились. Он мужественно всё перенёс, изменился, но немного – больше в сторону лагерной политической лирики. Наконец, эмигрировал в Израиль. Там писал, в том числе создал тоскующий стих о прощании с Россией. Там же принял православие. Там же умер. Наши ребята во всём были парадоксальны и плевали на то, что о них думают. Другой человек, «узник совести», мало знакомый мне лично, но известный в то время – Юрий Галансков. Этот молодой человек из совершенно простой, именно рабочей семьи тоже писал стихи, но другого рода – его «Человеческий манифест», написанный против коммунистического строя, хотя и не в прямом смысле, ходил по рукам в Москве и тревожил лидеров московского комсомола своим вызывающим и искренним тоном. Это, однако, ему простили, но не простили весьма серьёзную деятельность по созданию в Москве (причём среди рабочих!) антисоветской подпольной организации. Этот человек был чист, смел, сознавал, что ему грозит, и всем жертвовал ради своих убеждений. В итоге его «закрыли», и он умер в лагере. Он как-то зашёл и к нам на Южинский, но надрыв и мистика, увлечённость Блоком и вообще атмосфера наиболее таинственных стихов Серебряного века были ему чужды, в отличие от его брата по рабочему классу – Анатолия Корнилова. Пить вино и мечтать о Боге – было не его занятие. Его замечательная сестра, пережившая его немного и дожившая, кажется, до конца XX века, сохранила и донесла до всех знавших её наиболее адекватный образ её брата, предельно искреннего, до слёз открытого русского парня, не жалевшего себя «за други своя»…

* * *

Между тем по Москве уже пополз слух о том, что появился «подпольный», «неконформистский» писатель мистического направления. Начало этим слухам положили чтения в 1961-62 годах моих рассказов в Южинском переулке, в моей квартире. Сам я там уже не жил, а использовал эту квартиру для чтений и сборищ. Она, как я уже упоминал, включала в себя две смежные комнаты в коммунальной, чисто советской квартире на втором этаже дома дореволюционной постройки начала XX века. Всего, кроме меня, здесь обитали ещё пять семейств.

Квартира № 3 была та, в которой я жил с самого своего появления на этом свете в 1931 году. И жильцы в основном были те же, что и тогда. Это прибавляло их доброжелательства ко мне, тем более что и по природе своей это были люди хорошие. Удивительно, что вообще в своей повседневной жизни, в быту, советские люди сохранили порядочность, моральные устои общечеловеческого характера, я бы даже сказал, с христианским оттенком, доставшимся из предыдущих столетий… Короче говоря, я в своей жизни там, в Советском Союзе, а точнее, в России, не встречал так называемых «плохих людей», разве что за редким исключением. Конечно, была и уголовщина, но она пряталась по углам. Не было тупого, беспощадного эгоизма, всегда можно было рассчитывать на помощь. И в конце концов жильцы квартиры № 3 дома № 3 по Южинскому переулку прощали мне вечерние, иногда почти ночные, регулярные посещения моих друзей и слушателей. Иногда милиционер, живший напротив, бунтовал и вёл со мной воспитательную работу, но он был изумительно добрый человек, к тому же пьющий.

Чтения не обязательно происходили при свечах и не обязательно с обильными водочными возлияниями после. Но свечи, стихи, гитара, соответствующие песни, абсолютно необычные для советского времени, и совершенно ирреальные беседы о прочитанном, которые уводили всё дальше и дальше, в то, что трудно было вместить иным образом, – всё это было… Любимые напитки – конечно, но всё-таки в умеренных дозах, в таких, которые не нарушали общую ауру, созданную чтениями, а наоборот, только усиливали иррациональность и полную открытость бесед. Во всём этом было нечто, что почти не передаваемо никаким текстом – я имею в виду эмоциональную, душевную, внутреннюю настроенность. Литература, философия, стихи, душевные раны, жизнь и смерть, прошлое, будущее – всё сливалось в единый поток. Обнажённость была до последних тайников души. Были и слёзы, на грани истерики. Помню реакцию после чтения моего рассказа «Тетрадь индивидуалиста»… Сложилось впечатление, что в сознании слушателей что-то произошло, словно они открыли в себе какой-то новый уровень бытия, самосознания. Какой-то взрыв произошёл внутри… И это выразилось далее слезами, почему слезами – непонятно. Помню, Лена Строева пробормотала с полной отдачей и с надрывом:

– Ну и обнажился ты… До предела просто… Не надо такой обнажённости, нельзя так душу свою терзать…

Другие, наоборот, сочли, что надо терзать свою душу так, что мало не покажется, терзать до самых глубинных, кровавых ран.

– Обнажённости, побольше обнажённости! – крикнул тогда кто-то в углу. – И кроме того, все эти истинные открытия, откровения, надо одевать в оболочку бреда… Бреда побольше… Так эти глубины легче будет воспринимать, в чистом, обнажённом виде они могут быть страшны и невыносимы… Жизнь – страшная вещь!

Примерно так говорил кто-то после этого первого чтения «Тетради индивидуалиста» на Южинском.

Милиция к нам приходила всего два раза в течение 60-х годов. Приходила, но ничего криминального не нашла.

– Накурено у вас чрезмерно, – заметил только один молчаливый милиционер.

И всё. Дело в том, что слухи слухами, но в моих рассказах не было ничего антисоветского, никакой политики. Это спасало, тем более советская власть к тому времени значительно потеплела.

* * *

Кто же посещал тогда, в первые годы подпольных чтений, Южинский? Время было для нас таким захватывающим, я имею в виду наши встречи, чтения, поиски, что мы даже не заметили, что в 1962 году удалось каким-то чудом предотвратить Третью мировую войну. В это время был самый разгар наших бдений.

Итак, в тот период существования Южинского частыми посетителями были: Владимир Ковенацкий (художник и поэт), Евгений Головин (поэт, переводчик Рембо и русский алхимик), Алексей Смирнов (художник и эссеист), Владимир Степанов («главный суфий республики»), Александр Харитонов (художник), Михаил Каплан (поэт) и менее известные для мира сего упомянутые Лев Барашков, Анатолий Корнилов, а также Алик Скуратовский с женой Галей и другие. Все они приходили или одни, или со своими подругами…

Захаживал к нам также и Анатолий Зверев (тот самый художник-авангардист, о котором, насколько я знаю, положительно отзывался сам Пикассо). Но, несомненно, центральное или одно из центральных мест в Южинском кружке занимала Лариса Пятницкая. Она была и вдохновительницей, и аккумулятором всех тех идей, включая эзотерические, которые, как шаровая молния, проходили по Южинскому. Впоследствии, уже в 90-е годы и позднее, она написала изумительные произведения об адептах и посетителях Южинского, и прежде всего о Евгении Головине, мэтре, знатоке альтернативной европейской культуры, древних и тайных наук, включая алхимию, авторе сюрреальных песен, глубочайших стихов и эссе.

Надо сказать, что в то время у меня сложилась основа моего метафизического и философского видения, уже были первые философские тексты. О литературе, рассказах я уже не говорю. Поэтому я оказывал самое мощное влияние на ту молодёжь, которая меня окружала, включая, конечно, тот небольшой круг, в центре интересов которого стояла мировая метафизика (Евгений Головин и Владимир Степанов, частично Алексей Смирнов). Только несколько позднее Алексей Смирнов отпал, отошёл от нас, но зато присоединились такие личности, как небезызвестный сейчас Гейдар Джемаль и «тайный» человек Валентин Провоторов. Но о них в своё время.

Главным импульсом, двигателем моих исканий было стремление понять и войти в то, что мир не вместил. Всё то, что проходило в этих моих исканиях, отражено как в моих философских текстах, так и во многих рассказах и романах. Но мемуары – не философский трактат, а хроника жизни и событий, поэтому – вперёд по тропам безумного нашего времени…

Владимир Ковенацкий был полностью наш, он никогда не интересовался политикой. Но в его глазах почти постоянно стояли слёзы. Очень часто. Это были незримые, внутренние слёзы, иными словами, он был слишком чувствительным, чтобы жить в XX веке. Тем не менее, художник и поэт крайне удачно соединились в нём; и его стихи, и его картины говорят об одном: мы все на земле живём в сюрреальном, полубредовом мире, в котором пребывать интересно, загадочно, но весьма опасно. И не дай Бог лучший мир, в который мы все уйдём рано или поздно, будет похож на этот.

Мои рассказы ужасали его, но притягивали к себе, хотел он того или нет. Ковенацкий был постоянным посетителем Южинского, и стены «мистической» квартирки были уве-

шаны его картинами. Тематика их отражала дух Южинского своей надзвёздностью и некоторым своеобразным влиянием Блока.

Культ Александра Блока, действительно величайшего поэта, пронизывал ауру Южинского. Он был для нас и пророк, и творец «странного мира», и искатель надмирной женственности. Но Ковенацкий изображал эту тенденцию самым отчаянно-своеобразным образом. Меж звёзд у него летали гробы с загадочными полуголыми женщинами, а внизу, на земле, царил хаос. Милиционера нашего Володю, участкового, особенно возмущали летающие гробы с красавицами слегка не от мира сего. Отсюда родилось выражение «сексуальная мистика», ибо художественная «газета», которую Ковенацкий рисовал и писал, позиционировалась им как печатный орган «сексуальных мистиков». Но у него были и более пугающие откровения, хотя и всегда с сюрреальным юморком. Таким он видел и окружающий мир и дошёл до того, что, как он писал в одном своём стихотворении:

Видно, я сошёл с ума —
Не могу смотреть без смеха
На людей и на дома.

Сам он, однако, в то время был как-то по-бытовому мирно женат, но вскоре развёлся. Понятно, что не он один видел явное и страшное несовершенство мира сего. Но зачем же сходить с ума и хохотать над самой банальной, обыденной жизнью?

У Володи был один рисунок, далеко не самый лучший, но в нём проглядывает весь символизм его жизни. Рисунок простой: на переднем плане лихо сидит художник, перед ним полотно, и он что-то рисует. Что же он рисует? Он рисует взрыв атомной бомбы, гриб, разрастающийся где-то не так уж и далеко. Это и есть Ковенацкий, его ситуация. Художник и взрыв мира сего. Таково было его мироощущение.

Но так нельзя. Нельзя смотреть в глаза своего убийцы и наслаждаться, мучаясь его взглядом. Невозможно жить в постоянном надрыве. За надрывом должен следовать прорыв, вознесение, спасение. Надрыв – и рывок вверх. Разумеется, у Ковенацкого были прорывы, само его творчество доказывает это, но, по моему ощущению, надрыв в нём преобладал. Это не могло закончиться тихо-спокойно.

Когда мы с женой были уже на Западе, до нас донеслась весть о его безвременной кончине, связанной, видимо, с какой-то нервной и психологической перегрузкой. Но в 60-е годы он, милый Володя Ковенацкий, оказался в некоем центре: он присутствовал и на Южинских вечерах поэтов и художников, но в то же время он оказался связующим звеном между ними и совсем небольшой тогда группой подлинных метафизиков, адептов великих древних учений. Я встретился с теми людьми, которые интересовали меня гораздо больше просто поэтов и художников. Ведь страсть к метафизике, к какой-то конечной, абсолютной истине или к её запредельной невместимости была у меня не менее сильной, чем страсть к писательству, к литературе. В конце концов эти два процесса часто сливались.

И вот я, со своим необычным для того времени миросозерцанием, познакомился с этими людьми. Тогда это были трое: Евгений Головин, ещё совсем молодой, но уже переводчик Рембо и каких-то средневековых трактатов, Владимир Степанов, «первый суфий Республики», как называл его Головин, и Алексей Смирнов, человек в то время довольно жуткий, но прекрасный друг Головина.

Владимир Степанов – лицо довольно закрытое; после перестройки он организовал суфийские (и не только) группы в России и Европе, выступая в качестве Мастера Джи[1]. Он умер в 2011 году.

[1] См. книги «Цитаты Мастера Джи» под ред. А. В. Степанова (М.: Издательская группа «Традиция», 2015) и К. Серебров

Алексей Смирнов тоже, в отличие о Головина, вёл довольно скрытую жизнь, но стал известен в посткоммунистической России благодаря неожиданной публикации прекрасных эссе. Он умер в начале XXI века.

Впоследствии, в течение 60-х годов, когда Алексей Смирнов ушёл в совсем непонятную для нас жизнь, к нам присоединились два совершенно исключительных человека, которым трудно подыскать какие-то аналоги… Но об этом позднее.

Итак, в начале 60-х годов уже образовался круг метафизиков. Я помню первое появление нашего Евгения Всеволодовича Головина на Южинском. Шёл 1963 год, год безумного расцвета Южинского. Направил его Ковенацкий. Была ночь, и в самый разгар немного пьяных бесед о Ницше и чтения стихов, почти крадучись, вошёл он. Без стука и звонка в парадную дверь всей квартиры; эта дверь была кем-то из наших открыта, видимо для того, чтобы привлечь ночь. Мы сидели в маленькой запроходной комнате, а из проходной раздался его голос:

– Стихи хорошие, но средние. Стихи должны сводить с ума богов, тогда это поэзия. Примеры есть…

Стихи были, действительно, хорошие, но «средние» и известные. Чьи – не помню. Но я вздрогнул при звуке его голоса. В нём была та неведомая миру отключённость, которая делает истинных поэтов. Как у Блока:

Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.

И когда Головин вошёл в нашу запроходную комнату, было сразу видно, что ради истинной поэзии он отвергнет всё, что ничтожно в его глазах. И прежде всего любой социум.

*** * ***

Чтобы реально описать Головина, надо знать все стихии, которые владели им. Античные боги, поэзия – не как стихосложение только, а как жизнь, маргинальная европейская культура, русская и европейская поэзия, алхимия, алкоголь, полное равнодушие к социуму, иногда сюрреальные поступки. После его посещения Южинского мы встретились одни в его комнатке в коммуналке, где-то около Елоховского собора. И сразу всё стало ясно. Пересказав друг другу самое существенное о себе, мы осознали, что будем связаны духовной судьбой на всю жизнь. Я был старше его лет на восемь, мои рассказы действовали на него ураганно и метафизически. Он был истинный поэт, потому так впечатлителен на всё, что выходило за пределы «обычного». «Милые, обычного не надо», – вспоминали мы потом, несколько лет спустя, стих Валентина Провоторова, о котором речь в своём месте.

Головин не был философом, но метафизические реалии он познавал окольно-тайным путём, через поэзию, тайные науки и тому подобное. Тогда, в этой его комнатушке, я прочёл ему мои стихи, написанные от имени героя моего рассказа «Человек с лошадиным бегом». Вздыхая, он пробормотал:

– Боже мой, какой бред!

Это была высшая похвала в его устах. Бред для него означал перепонимание реальности. Я был согласен.

«Один шаг в Зазеркалье / Мистический андеграунд» (М.: Издательская группа «Традиция», 2014).

Начну с его интереса к античным богам. Разумеется, он признавал Христа как Богочеловека и как-то заметил, что надо быть полным идиотом, чтобы отрицать божественность Христа. Но его какой-то стороной сердца тянуло именно к богам, к этой духовно мощной, но опасной категории существ. Он их знал, понимал и частично выразил это в своих шедеврах. Несомненно, самым близким из богов ему был Дионис. Именно в нём он видел, может быть, и свою судьбу: метаться между высшими прозрениями и падением в бездну, падением, которое потом служило отправной силой, чтобы снова уйти вверх. Да и как не обожать дионисийское начало, когда им пронизано всё лучшее, что есть на земле в наше время (считал он).

Но с богами не шутят. Греки это хорошо знали и считали, что познать их до конца невозможно. Его любимый Достоевский согласился бы с этим, добавив, что и человека познать невозможно. Мне же Головин за вином говаривал:

– Юра, ты доказал, что человек может быть страшен, страшен не просто так, а по безднам своей души.

Равнодушие и презрение Жени к социуму, к какому-либо социальному успеху принимало порой апокалиптический характер. Как он существовал, вообще было непонятно. Такое, пожалуй, возможно только при социализме. На Западе он бы просто пропал.

Да, насколько я знаю, он получал что-то за свои переводы европейской поэзии. Блестяще перевёл «Пьяный корабль» Рембо. Европейские языки он знал великолепно и мог бы войти в плеяду блестящих переводчиков западной литературы. За такие переводы классических текстов при советской власти платили, мягко говоря, очень хорошо. Но он презрел эту возможность. Его интересовала только та европейская литература, от которой советские редакторы пришли бы в ужас или в столбняк.

К моменту нашей первой встречи Головин был женат на милой молоденькой девушке, которая родила ему дочь. Но, видимо, ещё до её рождения он разошёлся со своей женой. Вскоре после первых встреч я уже застал его живущим с Белым Тигром. То была весьма образованная женщина, полонистка, переводчица, чуть постарше Жени, да ещё с сыном, школьником. Но они достойно, слегка сюрреально, сошлись: он – поэт, эссеист, она – переводчица, знаток европейской литературы. Белый Тигр высоко ценила поэтический дар Жени.

Уже при Белом Тигре Женя пропил свой советский паспорт. И всё это время, с начала шестидесятых, кажется, жил в стране тотального контроля без паспорта, и довольно удачно жил, без препятствий. Паспорт он не то чтобы пропил, а просто оставил его в залог в ресторане, где компании выпивающих метафизиков не хватило денег на безграничную выпивку. За своим паспортом он не возвращался, да и ему из ресторана никто не навязывал советский паспорт… Он жил с социальной точки зрения удивительно легко, словно не жил, а пролетал по дорогам социума. Если бы в том ресторане могли слушать стихи Рембо или Малларме на французском или Блока на русском, он непременно пришёл бы туда за своим трудовым советским паспортом. С тех пор гонорары за переводы он получал косвенно.

Но главной магической силой Головина было общение. Это было что-то выпадающее из мира сего, как будто этот мир превратился в яичницу, а общение между людьми стало божьим даром. Передать трудно, что это было за общение. Оно напоминало общение в древнем мире, когда не было презренной печатной машинки, и все знания, восторги и глубины передавались устно. Фактически, эта практика преобладала и на Южинском, и таким общением – душа к душе, лицом к лицу – Женя владел в совершенстве. Все гиперболические знания, которыми он владел, кончая тайнами герметизма и древних наук, обрушивались на собеседника в причудливой форме и таким образом, что всё это воскресшее касалось самого центра личности собеседника, задевало его, выводило из себя или просто зачаровывало. Были даже дикие случаи…

Сидел Женя как-то с одним из своих приятелей у него за бутылкой водки и рассказывал ему о тонкостях французской мистической поэзии первой половины XIX века. Кстати,

время это – после революционного погрома французской аристократии и дворянства – было самое подходящее для мистических излияний в поэзии. Приятель этот слушал Головина как зачарованный, словно душа его перенеслась в то далёкое время. А тут возьми и появись сам папаша приятеля. При виде Головина, бутылки водки и французской речи, смешанной с изысканной русской, он пришёл в ярость и хотел было накинуться на Женю, как некий бык, раздражённый красной тряпкой. Сынок его, однако, поднял крик:

– Папа, ты пойми, наконец, что это Головин! Головин это!

Папаша не понял. Тогда сынок схватил разъярённого папу за шиворот и выгнал из квартиры. Но на следующий день из-за такой бесшабашности сыночка получился шумный семейный скандал… Мамочка решила, что Головин – это чёрт…

А нам, читатель, сейчас самое время остановиться на феномене водки в среде нашего круга, Южинского по названию. Конечно, в те времена, в 60-е годы, вся страна пила, точнее, выпивала; при этом страна работала. То ли водка была не поддельная, качественная, то ли здоровье у народа было значительно лучше, чем сейчас, в XXI веке… Но мы остановимся на теме: алкоголь на Южинском или вообще в среде подпольной творческой интеллигенции в Москве 60-х годов.

* * *

Итак, алкоголь. Ключом к пониманию его роли в нашей среде в то время было знаменитое стихотворение Блока «Незнакомка», особенно его финал:

В моей душе лежит сокровище
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище.
Я знаю, истина в вине.

И добавлю ещё всего лишь одну строчку:

И влагой терпкой и таинственной…

Именно «…и таинственной» имело такое уникальное воздействие. Алкоголь связывал тогда всех нас. Головин говорил, что сразу после первой рюмки вина (пусть «вино» будет обобщающим словом) что-то расцветает в его сознании, пылает нетленный огонь, и в памяти восходят все самые потаённые, значительные мысли, напевы, стихи, озарения. Именно озарения. И этот вдруг создавшийся цветок можно было дарить каждому, способному внимать. А главное – ещё рождался подтекст, намёк на нечто почти невыразимое.

Естественно, такое воздействие вина придавало общению новый, благодатный уровень. Но, разумеется, такого рода общение никогда не переходило в бессмысленное пьянство. А ведь «общение» было ещё одним ключевым словом для того времени. Слово, лишённое публичности и публикации из-за запретов, приобретало то значение, которое оно имело в великие древние времена, когда устное общение преобладало и считалось, что именно при устном общении может передаваться друг другу самое важное, духовно значительное. И, конечно, такое раскрытие душ происходило у нас и без участия винного нагрева, но вино тогда не было для нас убийцей, а как раз наоборот.

Помню, уже в эмиграции, в Америке, один из эмигрантов (забыл его фамилию) написал где-то в газете громкие слова: «Всем хорошим в себе я обязан водке». Как бы дико это ни звучало, но в этом душераздирающем заявлении была своя правда. Самое интересное, что впоследствии, во время эмигрантской жизни в 1970– 80-х годах, во время возвращения

и жизни в России в 90-х годах и в XXI веке, алкоголь не имел и тени того таинственного воздействия, которым он обладал для нас в 60-е годы. Вино как вино, ну, повышало тонус, развязывало язык – как у всех, как полагалось, приятно, но ничего особенного. А общение, тем более духовное, обходилось без разогрева. Более того, алкоголь в наше время, сейчас, в XXI веке, на мой взгляд, приобрёл какой-то чёрный, негативный оттенок. Чем объяснить эту разницу? Нашей молодостью в те, шестидесятые, годы? Не думаю – на «молодых» сейчас, в том числе и личностей нашего плана, вино оказывает довольно банальное воздействие. Качеством доступного алкоголя тогда и сейчас? Допустим, качество сейчас хуже, но доступно и хорошее вино. Но результат тот же: в лучшем случае – банальное воздействие. Бывают исключения, но редко. А негативного всё больше и больше. Я думаю, разгадка – в душевном, психологическом состоянии людей в России в 60-е и 70-е годы прошлого века и теперь, в XXI веке. Так называемая «перестройка» изменила ситуацию, и в плане алкоголя – в худшую сторону. Депрессивное состояние или просто попытка уйти от забот и тревог жизни только способствуют негативному воздействию алкоголя, бездонному упадку.

Ничего подобного не было тогда у нас, да и народ пил водку как-то веселее. У нас же «таинственная влага» сразу выводила в иное измерение, точнее, свой собственный внутренний мир выходил на поверхность сознания, и ничего не существовало, кроме него. Исчезала иллюзия времени, прошлое и настоящее сливались в единый поток…

…В те времена Головин дружил с Алексеем Смирновым. Тогда он выступал больше как художник-сюрреалист. Сюрреализм в жизни и в искусстве обозначал его суть. Картины, которые он нам показывал, были чудовищны по смыслу, даже передавать этот смысл словами до невозможности тяжело… Так что увольте.

В добро как метафизический принцип Алексей не верил и считал, что люди просто надевают в своём воображении белый намордник на мироздание. Всё на самом деле очень-очень жёстко. Мир для него превращался в сюрреалистическую картину – гораздо более безумную, чем живопись Сальвадора Дали. Отец его был советским художником, и Алексей тоже имел высшее художественное образование. Но с отцом он не ладил, и тот его, по-моему, побаивался. Слишком широк был Алёшин размах.

Тогда Смирнов ещё не писал свои размышления, эссе, но литературу любил, и мои рассказы вызывали у него дикий хохот. Он считал их достойным выражением сюрреальности мира сего. Он и в жизни тогда был склонен к буйству, и только Головин своим спокойствием и отрешенностью как-то утихомиривал его.

Полной жизненной противоположностью ему оказался Владимир Степанов. С ним я познакомился у Ковенацкого (как, впрочем, и со Смирновым). Степанов был молчалив и сосредоточен. История его духовной судьбы весьма необычна. В послесталинское время из лагерей вышли, в том числе, несколько человек, связанных ещё в дореволюционное время с редкими группами богоискателей начала XX века. Один из них, которого называли Oldman, даже организовал у себя на квартире нечто вроде учебных курсов.

Короче говоря, именно эти люди, вышедшие из лагерей, познакомили Степанова с миром различных духовных учений. Они сохранили даже некоторые весьма ценные и интересные рукописи. Сам Степанов в то время был увлечён учением Гурджиева и Успенского.

Таким образом и создалась у меня на Южинском группа людей философско-метафизической направленности (Головин, Степанов, Смирнов). К этой группе присоединились потом Валентин Провоторов и Гейдар Джемаль, а позднее и Александр Дугин. Лишь Смирнов по своей воле к какой-то неведомой жизни ушёл от нас приблизительно в конце 60-х годов и выпал из нашего поля зрения вплоть до своей смерти в 2009 году. Последний раз я его видел где-то в 1974-м, перед отъездом на Запад. Несмотря на «неведомую жизнь», я застал его женатым, с детишками, на даче, мироустроенным. Но это ничего не значило – что творилось в его душе, известно только Богу и частично тем, кто читал его опубликованные

позднее размышления. Моё желание уехать он одобрил, но заметил, что Россию, ту, тысячелетнюю, которую мы потеряли в 1917 году, можно хранить в душе и жить ею как здесь, так и там. Мы, наш народ, отстояли эту великую и таинственную Россию, которая продолжала жить и под покровом советской власти, в войне против фашистского чудовища, в этой судьбоносной для всего мира войне. Советская власть пройдёт, но Россия останется, восстанет и осуществит рано или поздно своё высшее предназначение.

Сам Алексей вёл какую-то до странности самостоятельную жизнь, не хотел общаться ни с кем из прежних друзей, людей нашего круга. Он, видимо, исчерпал этот круг для себя, для своей души. Больше я его никогда уже не видел.

…Кроме Южинского, я посещал, читая свои тексты, ещё ряд кружков, «салонов», как их тогда называли, где собирались «неконформисты». Это были или весьма приличные московские квартиры, или затаённые углы. Одним из таких «приличных» салонов была квартира Льва Кропивницкого, известного художника-авангардиста, ярого поклонника моих рассказов. Но тогда с алкоголем там было тихо, и один раз я даже не выдержал, тем более рассказ, который я собирался читать, был достаточно «безумен» («Голос из ничто»). Перед тем как читать, я отлучился, как бы в туалет, а там вынул из кармана припасённую четвертинку и был готов. В таком отключённом состоянии и звучал «Голос из ничто». Все были довольны, а метафизический текст заглушал влияние алкоголя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.